

СЕРБСКОЕ СЛОВО Дневник о Чарноевиче

Милош  
Црњанский

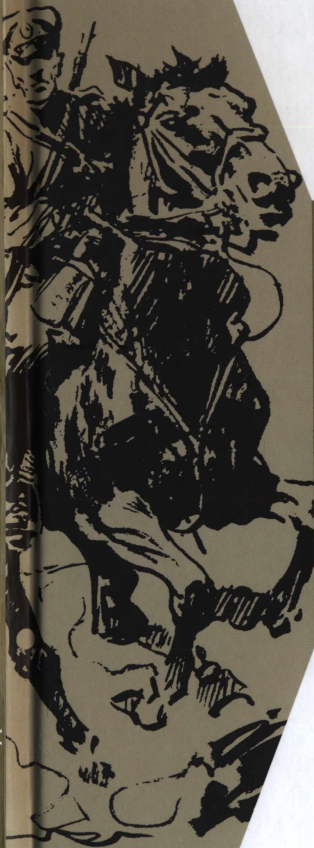
# СЕРБСКОЕ СЛОВО

Дневник

о Чарноевиче

Милош

Црњанский



Дневник и мемуары –  
это то новое,  
что изменит роман XX века.  
Милош Црнянский

Только Црнянский  
из всех нас –  
прирожденный писатель.

Иво Андрич  
Лауреат Нобелевской премии  
по литературе



Центр  
книги  
Рудомино

ISBN 978-5-00087-150-8









# СЕРБСКОЕ СЛОВО

К 125-летию  
Милоша Црнянского  
и 100-летию  
окончания  
Первой мировой  
войны





Милош  
Црњанский  
Дневник  
о Чарноевиче

Москва  
Центр  
книги  
Рудомино  
2018



Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям  
в рамках Федеральной целевой программы  
«Культура России 2012–2018»

Перевод на русский язык осуществлен при финансовой поддержке  
Министерства культуры и информации Республики Сербии

Перевод выполнен по изданию: Милош Црњански,  
Дневник о Чарнојевићу; Београд: ЛОМ, 2016.

Издательство благодарит Вукосаву Джала-Иветич за помощь  
при подготовке перевода к печати

Автор предисловия доктор филологических наук,  
профессор Белградского университета Михайло Пантич

Ответственные редакторы серии

«С Е Р Б С К О Е С Л О В О»

Е.В. Сагалович и Ю.Г. Фридштейн

Дизайн серии Т.Н.Костериной

В оформлении переплета использованы фрагменты графики  
С.В.Соловьева (1901–1975). Издательство благодарит Российский  
фонд культуры за предоставленные материалы.

Црњански, Милош

Ц82 Дневник о Чарноевиче / Милош Црњанский; [перевод с сербского  
Елены Сагалович]. – М.: Центр книги Рудомино, 2018. – 128 с. –  
(Серия «Сербское слово»).

ISBN 978-5-00087-150-8

Отныне в великолепном синодике давно явленных на русском языке знаменитых  
романов, созданных писателями «потерянного поколения» – Ремарком,  
Олдингтоном, Хемингуэем – встанет с ними рядом и на равных – несправедливо  
и незаслуженно «пропущенный» роман сербского писателя, солдата Первой  
мировой, Милоша Црњанского. Роман, в котором почти документальное  
повествование распадается глубиной и многозначностью художественного  
полета; роман, в котором автор и его главный герой сходятся и расходятся,  
двоятся, троются, множатся. Роман, в котором открыто прочитываются факты  
биографии и тайно – то, что фактами не всегда можно объяснить...

© Задужбина Милоша Црњанског, 2018

© Елена Сагалович, перевод, 2018

© Михајло Пантић, предисловие, 2018

© ООО «Центр книги Рудомино»,

издание на русском языке, оформление, 2018

В начале пути,  
или «Дневник о Чарноевиче»  
Милоша Црнянского

Романист и поэт, а также лейтенант австро-венгерской армии на фронтах Первой мировой войны, позже – дипломат, работавший в посольствах Югославии в Риме и Берлине, Милош Црнянский (1893–1977), как и его ровесник, лауреат Нобелевской премии Иво Андрич (1892–1975), – один из самых значимых сербских писателей XX века, пробовал свои силы в разных литературных жанрах, задав основной тон и окраску сербскому модернизму после Первой, а особым образом и после Второй мировой войны. Его изначальное призвание *меланхолического лирика* проявилось уже в ранних стихах, рассказах, а также в небольшом по объему романе *Дневник о Чарноевиче* (1921); позже, иной раз парадоксально, со всей мощью творческой фантазии и эстетического размаха подтвердилось в последующих произведениях: *Переселения* и *Вторая книга Переселений* (роман, 1929; 1962), сборнике *Итака и комментарии* (поэзия и лирическая проза, 1959), *У гиперборейцев* (лирическая проза, 1966), *Роман о Лондоне* (1971).

Ранние произведения Милоша Црнянского – поэтический сборник *Лирика Итаки* (1919), проза *Рассказы о мужском* (1924) и, в особенности, роман *Дневник о Чарноевиче* – написаны под знаком трагического и в равной мере абсурдного военного опыта. Взгляд на мир, сформированный в эпоху жестокого социального слома, столкнувшего человека с обостренными вопросами смысла бытия, не предлагая ему никакого искупительного ответа, сопровождается очень сложным чувством. Это чувство требовало нового способа выражения, за пределами существующих форм; новый язык и новый дух требовали новой, соответствующей им литературной формы. В случае молодого Црнянского, описывающего себя в программном тексте «Токование ‘Суматры’» как суматраиста, причастного к идее всеобщей связи всех ликов мира, и тихого бунтаря, провозглашающего, что «старые каноны пали», речь идет об особом, лирическом скрещении иронии, меланхолии и покорности неотвратимому. Это сложное эмоциональное состояние и обусловленная им тональность дневника рождены пережитым писателем-солдатом *поражением*, причем не только чисто военным, но затронувшим глубинную суть его личности. Именно с этим трагическим жизненным опытом вошли в литературу писатели, обожженные войной, те, кого Гертруда Стайн назвала «потерянным поколением». Милош Црнянский из их числа.

Понятие «лейтенантская проза», родившееся в связи с писателями-лейтенантами совсем другой войны, в отношении романа Црнянского также более чем уместно.

Потому что за изошренностью его письма, за кажущейся формалистической вычурностью прочитывается, слышится беззащитная своей подлинностью «окопная правда».

Нетрудно заметить, что ряд стихотворений из сборника *Лирика Итаки*, как и отдельные ранние рассказы Црнянского («Рай», «Святая Воеводина», «Апофеоз» и «Великий день») имеют то же происхождение, что и *Дневник о Чарноевиче*, не важно, идет ли речь о концептах и образах (например: Видовдан, Гаврило Принцип, национальное освобождение, сомнение в господствующих мифах, одиночество, жизнь в аду истории) или о самих способах выражения (лиричность, фрагментарность, ирония и, прежде всего, меланхолия). Автор-рассказчик всегда представлен символической фигурой «юноши» — этот оживший романтический образ «молодого старика» мы встречаем и у других южнославянских писателей той поры, например, в прозе и лирике Мирослава Крлежи, Иво Андрича, Растко Петровича, Тина Уевича и Августа Цесарца. Подавленность и пассивность молодых людей — это «общее место» послевоенной литературы, как писал в то время сербский литературный критик Бранко Лазаревич, когда образовавшуюся пустоту нечем заполнить, только бесконечной тоской, скепсисом, апатией, гневом и отвращением.

*Дневник о Чарноевиче* был впервые опубликован в только что родившейся общеславянской книжной серии «Альбатрос». Редакторами серии были сербские поэты

и критики Тодор Манойлович и Станислав Винавер, апологеты модернизма. По сведениям из разных источников, которые, к тому же, по-разному интерпретировались, Милош Црнянский, якобы из-за нехватки денег на печать и из-за ограниченного объема для публикации в серии, сократил свою весьма объемную рукопись дневникового характера до пяти авторских листов, а Винавер их отредактировал так, как полагал необходимым, без особого внимания к корректуре. Предположительно, остаток текста был уничтожен, сохранился только один фрагмент, не вошедший в книгу, под названием «Сон».

Непосредственно после публикации *Дневник о Чарноевиче* из-за необычности самой формы, абсолютно экспериментальной в контексте тогдашней национальной повествовательной традиции – отсутствие хронологической последовательности изложения, необычность и неопределенность личностей персонажей, «избыток» поэтичности, отсутствие причинно-следственной фабулы и фрагментарность самого повествования – вызвал в критике либо недоумение и абсолютное неприятие, либо столь же абсолютную поддержку. («Эта книга выглядит такой запутанной, как будто переплетчик трижды поменял местами листы, а метранпаж – трижды набор», – писал критик М.С. Йованович. Писатель Растко Петрович, отвергая этот комментарий с позиций «здравого смысла», заметил, что в *Дневнике о Чарноевиче* «есть некий абсолют, где, когда и как, в центре чего и по какому закону все, что здесь происходит, обладает своей судьбоносной ценностью»).

Своим личным опытом Црюнский наделил героя-рассказчика, Петра Райича, в чьих лирических реминисценциях чередуются воспоминания детства, связанные с иногда идиллической, а подчас травмирующей повседневностью, путевые заметки и переживания ужасов войны. Меланхолическое восприятие жизни Райича соединяет ощущение бессмысленности и потерянности в мире, ужас, иронию, предчувствия, предопределенность судьбы в постоянной близости смерти и мысли о ней, недостаток любви и ее несбыточность, бессилие, беспричинную печаль, тоску о дальних краях, поиски себя в небесах и потусторонности... Этот ряд возвышенно-поэтических состояний дает импульс к свободному поэтическому повествованию в лирическом романе Црюнского. Меланхолия «истерзанной души» как аура и основной тон сопровождает любое воспоминание, любое реально пережитое событие и любой сон наяву, любого персонажа, любую повествовательную фигуру или мотив (мать, одиночество, болезнь, смерть, пережитая и недоступная любовь и т.д.).

Загадочность главного героя, сливающегося с рассказчиком Петром Райичем, подчеркивается его двойственностью, которая в критике интерпретируется по-разному, но, прежде всего, как попытка Црюнского преодолеть автобиографизм своего непосредственного опыта. Чарноевич – это проекция Райича в мечтах, его возможное, трудноуловимое, постоянно ускользающее alter ego, которое в своих скитаниях и мыслях принимает на себя, как правнук «зачарованных романтиков»,

все страдание и боль реального, несчастливого мира, ища искупление в неуловимых, непознаваемых далях, что опять-таки свидетельствует о поэтической природе творческого дарования Милоша Црнянского. Двойственность проявляется и в интерпретации поступков, которые постоянно колеблются в рамках антитезы «акцентирование зла – поиск добра». Антитезы уродства жизни – и ее красоты, доминирующей безнадежности – и вопреки все-му сохранения надежды. Отсутствие традиционно понимаемого повествовательного механизма, создающего романную целостность, Црнянский «компенсирует» на совершенно ином уровне: посредством доминирующего представления о ничтожности потерявшего ориентиры, богооставленного человека в отчужденном, негостеприимном мире, – тем не менее, единственном месте его существования. Если Петра Райича определяет жестокость истории, то Чарноевич – это образ доверия небесам, это пространство, в котором, вопреки пустоте потустороннего, обитает меланхолическое воспоминание о надежде. И само по себе это воспоминание – уже избавление. Сам Чарноевич, одержимый колоколами, воспоминаниями, мрачными мыслями, сиюминутным ощущением женственности, неразличимой границей между явью и сном, эту веру в надежду провозглашает словами: «Я суматраист».

*Дневник о Чарноевиче* сразу стал и по сей день остается для сербской критической мысли предметом неснижающегося интереса как образец лирической прозы, к тому же – как уникальное свидетельство эпохи. Когда

*Дневник о Чарноевиче* был впервые опубликован, роман его сочли «с натяжкой», чаще называя повестью или неопределенно «прозой», или же «лирическим текстом», одним словом, жанрово подвижным произведением, которое медленно покидает форму новеллы и приближается к роману, в котором текучесть повествования и добавление элементов дневникового, документального жанра все-таки указывают на направление к романному горизонту.

Меланхолическая интонация повествования *Дневника о Чарноевиче*, равно как и других произведений Милоша Црнянского, по словам Николы Милошевича, первого интерпретатора творчества писателя в духе философии экзистенциализма, – это основное формообразующее и при этом содержательное свойство его стихов, рассказов и романов. Непосредственно в *Дневнике о Чарноевиче* меланхолия тлеет, как тихий огонь (как индивидуально-авторская, но и как общая ключевая интонация эпохи модернизма), и только иногда, что также свойственно и конкретному писателю, и повествованию его времени, сменяется иронически окрашенными фрагментами.

В *Дневнике о Чарноевиче* можно усмотреть поэтический перенос деталей и сцен из биографии писателя, много лет спустя описанных в *Итаке и комментариях* (топонимия, суматраизм, окопные сцены, сражение при Злота-Липе, рассказ о семье), которые недвусмысленно послужили исходными импульсами его раннего романного образного строя, воплотившись в неразделимых или с трудом делимых двух «отдельных» персонажах –



Райиче и Чарноевиче. Описанная двойственность свидетельствует о парадоксальном существовании между небом и землей, между историей и трансцендентностью. Эта предопределенность трагичности существования, как человека, так и всего рода человеческого, становится средоточием и главным смыслом более поздних великих романов Милоша Црнянского.

*Михайло Пантич*

# Дневник о Чарноевиче



Осень, и жизнь без смысла. Я провел ночь в тюрьме с какими-то цыганами. Шатаюсь по кабакам. Сажусь у окна и всматриваюсь в туман, и в багряные, мокрые, желтые деревья. Где жизнь?

Эти кровавые, красные, теплые леса, необозримые польские леса, как они меня утомили. Я солдат; о, никто не знает, что это значит. Но в той буре, что свела мир с ума, не много найдется людей, живущих так сладко и мирно, как я. Бреду из одного города в другой, под осенними деревьями, багряными и желтыми, которые действуют на меня так же, как на Хафиза вино<sup>1</sup>.

А тюрьма и муштра, и казарма, смрадная, завшивевшая и обшарпанная, так мало меня трогают. Я влюблен в эти воды, и в деревья, теряющиеся за крепостными стенами между лужами, желтыми и зелеными, вдоль которых трава такая мягкая, обожженная и теплая. А я люблю свою жизнь той чарующей любовью, которую пережил

1 Хафиз Ширази (ок. 1325–1389/1390) – персидский поэт, воспевал вино и любовь. – *Здесь и далее прим. перев.*

в прошлом году, возвращаясь из грязных молодых польских лесов, где столько их осталось лежать, растерзанных и окровавленных, с разбитыми прикладами лбами. Мрачными ночами, в маленьких домишках и избах, где я бывал в карауле вместе с другими парнями, я пишу много такого, о чем вспоминаю неохотно.

Был июнь. Веселый день, Видовдан<sup>1</sup>. Вена растекалась по купальням. Я спустился в нашу маленькую церковь, где дамы тотчас же оборачиваются на всякого вошедшего. Поп теребил Евангелие, листал его, вносил его, выносил его; дамы тихо переговаривались, а господа позвякивали мелочью для тарелочки с пожертвованиями.

Потом мы пошли в «Курсалон». Здесь, где когда-то, покашливая, прогуливался милый Бранко<sup>2</sup> и мечтал о виноградниках; на скамейках собираются дамы, одетые нарядно, в больших желтых туфлях. Здесь говорилось и говорилось, а над нами, высоко на фреске, обнимались трое нагих юношей, преклонив колена и целуя триколор. Был веселый день, Видов день. Вечером напивались, но это у нас «от прадедов». А теплая ночь, звездная ночь, вошедшая в раж от одного прекрасного убийства<sup>3</sup>, гре-

1 Видовдан, Видов день, 28 июня – день святого Вита (Фита), важная дата в истории Сербии, день битвы на Косовом поле (1389).

В настоящее время государственный праздник.

2 Радичевич, Бранко (1824–1853) – сербский поэт-романтик, представитель Сербского национального возрождения. Умер от туберкулеза.

3 28 июня 1914 г. – убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда сербским гимназистом Гаврило Принципом.

мела гамом и гулом голосов веселившегося люда. На рассвете я пришел домой; лег спать. Видовдан прошел.

На следующий день прекрасные боснийки, провожаемые статными далматинскими студентами, счастливо отправлялись к своим старым мужьям. Уехал и я. В поезде все ругали убийцу. Одна дама говорила, что этот смешной видовданский герой был «испорченный», и что все гимназисты и все гимназистки в Сараево «испорченные». Мои глаза были полны слез. Ах, я был тогда еще юн, так юн.

Варадинские мосты дрожали от марша батальонов, а июльская ночь была светла от пьяной песни увенчанных цветами солдат. Мы слышали, что за городскими укреплениями расстреляли каких-то учителей. В церкви владыка славил верность императору, а по домам прятали иконы и портреты царя Душана. Только скорняки и опанчары<sup>1</sup> спокойно прогуливались, руки в карманах, сплевывали, перекикивались: «Ацо!», пожимая плечами: «Да наплевать, с нами Англия».

Когда я сел в поезд, то про себя тихо повторял холодные, роскошные латинские слова: «...над империей Рима никогда не заходит солнце», и я натягивал и стягивал свои белые перчатки, которые так любил.

1    Опанчар (опанщик) – мастер, изготавливающий традиционную сербскую обувь – опанки.

Потом я видел двор, полный священников, мужчин и женщин. О, как это было смешно. Мы все должны были уткнуться носами в стену и молчать. Так я стоял до вечера. Потом потерял сознание. Я был очень нежным молодым господином.

Потом меня били. О, и это не было больно. Я привык читать романы и часто думал о каторге Достоевского. Потом меня опять били по лицу. Из документов они видели, что я ехал в Рим, и кричали мне в лицо: шпион, шпион. Один священник лежал рядом со мной, рот его был окровавлен, а все зубы выбиты. Потом ввели молодую даму и двух девочек. И было тошно от того, как они вились вокруг нее. И на нее кричали: шпион, шпион, а она, такая бледная, обнимала маленькие каштановые головки своих дочурок. Потом меня опять били, и я с тоской озирался; испугался, снял белые перчатки и сел меж каких-то теней в темном коридоре, они страшно смердели, толкали меня и все время шептали: «Эй, ты, дай табачку».

Пушки грохочут. Кто-то празднует день рождения. А как родился я? Мой отец распевал песни и лепил банкноты тамбурашу на лоб. Всю ночь, в лютый холод, посреди занесенной снегом площади, вокруг костра стояла толпа народа и ждала рассвета, чтобы выбрать депутата. Говорят, наутро ему пришлось бросить свою инкрустированную серебром винтовку и собаку, своих пузатых нотариусов, и уехать куда-то далеко, на Тису. Говорят, он там целыми днями что-то пописывал, а ночами кутил; его пьяного привозили домой на санях. Только спустя пять

лет родился я. И тогда меня уложили в бельевую корзину, а мать всю ночь пела мне колыбельные, охотнее всего ту, из песенника «Нитки жемчуга». Мне все время рассказывали о каких-то селах, что горели, и о каких-то людях в красных фесках, что беспрестанно резали и убивали. А однажды вечером мне рассказали, как сажают на кол. Говорят, я тогда сильно плакал.

Когда наступил пятый день, дитя надо было крестить, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поехали, стало быть, по снегу и вьюге, на санях. Говорят, я не проронил ни слезинки. На Тисе за нами погнались волки, а лед под нами затрещал. Крестили меня где-то далеко, в какой-то старой, то ли греческой, то ли цинцарской<sup>1</sup> церкви. Мать моя плакала. Та изысканная благородная дама, что должна была окунать меня в воду, не приехала. Может быть, ее испугали волки. И так, потому что ждать не было возможности, позвали единственного православного человека, пономаря, по имени Божур. И он в слезах от неожиданно-негаданно оказанной ему чести, держал меня в святой воде и плакал от того, что не было у него ни гроша, чтобы одарить младенца. Богатые цинцары и прекрасные гречанки, с удовольствием вспоминаявшие сербских студентов, вспомнили и моего отца и приглашали нас в свои дома. А в снегу повсюду белели наши древние покинутые церкви, пустые. Мать моя, гордая и высокомерная, с презрением отклонила приглашения, и мы опять помчались по заметенной реке, уклоняясь от волчьего воя.

1    Цинцары (арумыны, валахи) – народ, проживающий на юге Балканского полуострова.



И с тех пор снег стал для меня в жизни чем-то прекрасным, а когда я начал распознавать вокруг себя дома и улицы, когда я начал понимать слова, мы опять куда-то переехали. О, мы часто переезжали.

На заре, в холодном сентябрьском тумане, я шел по мосту. Солнце было огромное, оно пламенело над крепостными стенами. Я поздоровался с ним и верил, что мне и здесь будет хорошо. Я нашел друзей. Они выходили из гнетущих, старых казематов; об одном я слышал, что погиб, о другом, что ранен. Тут я опять попал в тюрьму, но меня быстро выпустили. Они думали, что я скоро умру. Я кашлял и шел за повозкой, груженной горячими, свежими хлебами.

Болезни были лучшим из случавшегося со мной. Меня наряжали в белое и сажали в окне, а люди останавливались и смотрели. О, чего только со мной ни делали. Но и мать я вспоминаю, как сквозь сон. Она была молодой и красивой вдовой. Я о многом сожалею. Помню, она сидела на моей кровати и пела мне песни, в которых все время резали и убивали, а села горели. Как я из-за этого кричал. А наутро убегал из дому. Прятался под крепостными стенами, там, где изумрудные лужи, где трава была желтой и густой. Подолгу там лежал и ловил лягушек, зеленых, пятнистых, с красными глазами, я помню эти глаза, красные, желтые, таинственные, и как я подолгу на них смотрел. Лягушки дрожали у меня на ладони, а я, лежа в траве, долго, долго смотрел в их глаза, красные и желтые.

Помню колокольни. В моих родных краях наши церкви, пустые и пыльные. Большой старый церковный колокол гремел надо мной, а я, как маленький мышонок, сидел на корточках, на балках, и в страхе озирался. Тоска меня настигла рано. Никто меня не спрашивал, куда я иду, и никто не встречал меня, когда я возвращался домой. Моя мать была веселой, хорошенькой вдовой. Зимой я находил замерзших птичек и прятал их, а летом тайно обходил старые покосившиеся заборы и кормил щенков, о которых никто не заботился. А по субботам, когда гремели колокола, я прятался на колокольне, где было множество летучих мышей, и долго молился Богу. Все это неважно, потому что прошло.

Болезни были лучшим из случавшегося со мной. Я лежал, весь в кружевах, легких, как перышко, а в окне я видел своих голубей, которых я так любил, мысленно нянчил и купал. Матери приходилось доставать старые украшения, все свои жемчуга и шелковые вышивки, а я всё складывал себе на грудь и лежал, блаженствуя, и, смеясь, пересыпал из одной ладошки в другую золотых змеек, гривны, драгоценные пунцовые камни. И когда я вспоминаю, как давно это было, мне все представляется таким ужасным.

Мы ехали. Помню только повозку, несущуюся меж хлебов, и свою маленькую каштановую голову, в которой бурлило столько мыслей. Моя мать часто и охотно путешествовала. Тогда она всегда бывала бледной. Одевала меня в шелка и приучила меня к белым перчаткам, которые ночью насильно стягивали с моих рук. Но и она

спала в перчатках, смазывала руки чем-то, что пахло фиалками, и спала в перчатках. Я все видел. Мы все время путешествовали. Она носила черное. А ее служанки были такие распущенные; помню, однажды я плакал от стыда и страха. Бледный и невыспавшийся, я испуганно смотрел на людей вокруг себя, на вокзалы и поезда, чадающие и дымные. Она все время облачалась в свои благоуханные черные шелка и возила меня по курортам, где гуляла под лунным светом и танцевала на полу, блестящем и мерцающем. Ночью вокруг нас были черные и огромные горы. С особым удовольствием она танцевала с валашскими офицерами, приносившими мне сласти. Они катали меня на лошадях, и я помню, как испугался, когда мы остановились где-то в лесу и встретили мать, идущую пешком и громко смеявшуюся. Я заметил, что этот хохот, ненавистный мне, всегда повторялся, когда она надевала то черное шелковое платье, что было ей так тесно. Тогда мои глаза весь день были полны непролитых слез. Теперь все это мне кажется таким странным и невероятным. А вечерами я всегда вспоминал старую церковь, рядом с которой мы жили, и, лежа рядом с матерью (я все еще спал с ней, хотя она этому резко противилась), часто тихо плакал в темноте. Она же рано утром уходила куда-то, купаться. Много раз, еще полуобнаженная, сидя перед зеркалом, упрекала меня за то, что не сплю. Но я уже в детстве не мог спать.

На утренней заре фонтаны были очень холодными, но я сидел рядом с ними и дожидался матери. И теперь, столько лет спустя, нет на свете ничего такого, что бы меня удивило. В одном зеленом павильоне играл воен-

ный оркестр, а она вела меня в толпе женщин и надушенных офицеров, и я ловко катил обруч. И теперь, когда юность прошла, и когда я все понимаю, часто содрогаюсь от ужаса. Как только мы возвращались домой из чужих краев, звонили колокола. Мне казалось, что они звонят именно по мне.

По воскресеньям было хорошо. Тогда со стен улыбались лица, обрамленные высокими белыми воротниками, а под ними в веселом гуле голосов кружилось множество женских шляпок, напоминавших мне колеса обшарпаных свадебных экипажей, украшенных цветами. Моя мать любила ходить на свадьбы.

Сначала вставал и говорил какой-то господин в черном, как-то долго и невнятно, всё про Косово. Потом молодой священник читал «Ветер». Певческое общество, прижавшись к стенке, хихикало и влюбленно тискалось. Подружки моей матери меня подкарауливали; только протопопица обращалась ко мне открыто и внятно, с улыбкой. Потом певческое общество пело, что-то про Кара-Мустафу<sup>1</sup>, а я стоял, бледный, и меня знобило от этих песен. И всегда у меня на душе после такого гвалта оставалась усталость, от этих песен. Я стоял и слушал, как моя мать поет первым голосом. Протопопица меня спрашивала, улыбаясь, почему я к ней не прихожу и почему так редко выхожу из дому, и добавляла, кивая головой в сторону моей поющей матери: «Вам-то можно в сопрано, вы вдова!»

1     Кара-Мустафа – знаменитый воевода, герой эпических песен.

Я все слышал. Песни прижимали меня к стене, от них перехватывало дыхание. Но я знал, что мы делаем. Изумленно рассматривал старые иконы вокруг себя, каких-то людей в красных фесках, падавших в траншеи с кинжалами в руках; и эти старинные иконы и картины жгли мне глаза, будто лучи, отражавшиеся от их темного золота, и пронзали меня. Только когда кто-нибудь вскакивал на стул и, крича, предлагал славить патриарха, а другие – осыпать его проклятиями, только тогда я выходил из оцепенения. Мать подходила ко мне, и мы уходили дворами, через бондарные мастерские, где насаживали обручи на бочки. Все это давно прошло, и все мне кажется таким смешным.

Колокола над нашим домом звонили мрачно, в их эхе уплывала и церковь, и улицы, и все вокруг, куда-то в высоту. Весь мир был тогда таким невесомым. Я вспоминаю: мои многочисленные тетки приходили и плакали, часто заставляя меня больным, они рассказывали мне об отце и говорили, что пошлют меня в Вену учиться, чтобы я стал министром в Сербии. А я прятался в поле, за городом, особенно охотно на кладбище, где рядом с густой кукурузой паслись стада, и были пороховые склады. Здесь я лежал в траве, у какой-нибудь сломанной скамьи. У меня за спиной шумели ивовые заросли. В сумерках они розовели, а я вставал и удивлялся им.

Однажды меня укутали в шубы, провонявшие хлебом, набили мой багаж белым хлебом в неимоверном количестве, а карманы – лоскутками, которые мне дали тетки, я должен был купить им разные «крепы» и «сатин-

делены», и туфли какие-то с пуговичками, и устроили меня в маленьком поезде, заплакали и зацеловали меня. Они мне рассказывали, что и дядья мои, и отец так уезжали. Поезд постанывал и карабкался на холмы вдоль Дуная.

Батальон брел всю ночь по мокрым полям и жнивью. Покачивались огоньки сигарет. Останавливались медленно. Справа и слева, мы это чувствовали, по полям бредут сквозь ночь толпы людей. Артиллерия бормотала, позвякивала и бранилась. Мы шли сквозь белые, пустые дома, вытоптанные огороды, и везде находили только огурцы, много огурцов в воде. Где-то на холмах мы лежали вповалку, зная, что собираемся со всех сторон. Стелились первые утренние туманы, зябким рассветом мы добрались до какого-то пригорка и начали окапываться. Я – нет. Я был невыспавшийся, уставший от всего этого.

Мы окапывались в мокрой картошке, и тут, наконец, взошла прекрасная августовская заря. За нами, за каким-то лесочком, кто-то пел всю ночь, под гармонику, что-то печальное, на чешском. Было тихо и немо в тумане. Даже наверху, в небе, розовые облака играли над нами в жмурки. Потихоньку и вся земля розовела. Тогда сверкнуло, вспыхнуло, будто дикий лай, у нас в тылу. Стреляли несколькими залпами над нашими головами. Кто-то выругался и упал в окоп. «Decken!»<sup>1</sup> – перекрикивались, и хоронили всех в траншее.

1    В укрытие! (нем.)

Приносили солому, которую невесть где нашли; потом из окопов было слышно, как едят и посмеиваются, а орудия над нами грохотали страшно. Начали издалека, но отчетливо слышно. Рядом со мной лежал приказчик из лавки, из Белой Церкви, хороший парень, Радулович. «Они хотят durchbruch<sup>1</sup>», – говорит он. Я молчу и наклоняю голову. За спиной у себя слышу того, что уже месяцами, каждое утро читает молитву *Сон Пресвятой Богородицы*, и опять наклоняю голову, и ем хлеб, посыпая его сахаром. Слышу, как за нами у орудий выкрикивают команды и номера, и тихо и тяжело кашляю, кашляю. Вижу, как слева от нас из какой-то убогой деревеньки люди выходят на околицу.

Вью...у...бум... Первый от русских. «Перелет», – слышу, как кто-то шепчет. Потом вздрогнула земля, высоко наверху, а лошади понеслись вниз с холма. Наверху облака по-прежнему играли в жмурки, и только слышалось что-то, словно по воздуху ползут тяжело нагруженные поезда. Русские поливали картофель шрапнелью, и опять – ничего. Далеко, за холмом, страшно строчат пулеметы.

Примерно в десять приходит солдат. Читает нам приказ. Завязываем вещмешки. «Не забудьте сахар», – слышу, как мне шепчет товарищ. Наклоняемся и пробираемся по траншее к деревне. Пушки обезумели. Наверху, на холме, какие-то люди бегут, держа древки флагов в руках. Их обстреливают. Один упал. Медленно бежим по деревне.

1 Прорваться (нем.).

Перед домами стоят грязные женщины и много, очень много грязных детей в обносках. Один ребенок долго бежит рядом с нами и о чем-то меня просит, но о чем — не знаю. Еврейское дитя, красивое, смуглое. У последних домов, в сливовом саду, листья дрожат под дождем из пуль. Мы всё глубже и глубже закапываемся в траншеи.

Сидят раненые, окровавленные, грязные, дрожат, им холодно. Мертвец лежит ничком в лужах крови. Его раздели донага. Меж камней сидят, лежат, стреляют. На другом холме, напротив, в клубах дыма и пыли от вздыбившейся земли видна колючая проволока русских. Из какого-то окопа кто-то глумливо кричит мне на венгерском и грязно бранится. Справа от нас вылезают из окопов; выползает муравьиным ходом 33-й полк и идет в атаку со страшными криками, воплями и рёвом. Пробираемся между рядами колючей проволоки. Кто-то посылает нас на немецком по матери и обзывает собаками. Я вырвался.

Весь воздух вокруг меня дрожал от множества пуль. Падаю в какую-то рожь. Земля кружилась и взлетала передо мной и надо мной. Бегу как сумасшедший. Кто-то упал рядом со мной в грязь.

Передо мной в траве лежат чьи-то башмаки; справа от себя вижу мертвецов, с лицами, искаженными гримасой, их ноги смешно скручены и одеревенелы, колени странно жесткие. Наверху, перед нами, скачет русская кавалерия, они в желтых шинелях, смешные и дородные. Несутся в лес.



Мы опять залегли. Слева от нас горела деревня, со страшным дымом, стелющимся по земле. В лесу шел тяжелый бой. Прибегали люди, задыхающиеся, страшные – хотят сбежать. Мы окапывались прямо у леса. Я лежу и дышу, дышу часто; из носа у меня медленно течет кровь. Пи... ю... фч... пуля вонзается в землю рядом с моей головой. Все так перепуталось. Стреляют справа и слева. Вжимаюсь лицом в землю и дышу, дышу. Дрожу от этого дыхания.

Потом мы опять вставали и прорывались в эти густые леса. Я везде спал, но зори меня будили. Зори, зори дивные. Леса золотые, молодые, прекрасные мои леса Галиции. Медленно, через леса, мы подходили к Подкаменю<sup>1</sup>. В русских окопах было много окровавленных портянок и рубак, разорвавшихся винтовок и мертвецов – жуткое месиво. Мои люди, которые еще два-три дня назад пели, лежали перед этими окопами с разбитыми лбами. Люди завшивевшие, неумытые, ослабевшие, желтые, смердящие; некоторые еще живые, с безумным взглядом, на последнем издыхании. Один из нас узнал своего брата, лежащего среди трупов, упал и закричал. Батальон шагал и держал путь все дальше, через леса...

В ту пору танцевали танго, а мы, из Баната<sup>2</sup>, носили шелковые носки. Да, студенческая жизнь уже не та, как

1 Подкамень – местечко в Галиции (в наст. время Львовская область, Украина).

2 Банат – историческая область в Центральной Европе, в настоящее время разделенная между Сербией, Румынией и Венгрией.

когда-то в Гейдельберге; нет, мы были такие разные. Дни проходили. Я занимался. Чаше всего ходил на те лекции, где говорилось о политических движениях целых слоев общества, обездоленных и отчаявшихся. Это я любил. Эту алую кровь, пролившуюся по улицам. Мы сидели, несколько поляков, евреев и я, и слушали об истории русской души; она наступала, как большой туман с востока. И я знал, что должна налететь какая-то страшная буря, которая разнесет в клочья эту вялую жизнь без устоев и боли. Книги, целые груды книг, всюду лежали в комнате; стояла предвещающая беду весна, но никто еще не догадывался, что она принесет. А мы носили шелковые носки, и дни напролет проводили на улице и в трактирах. Мы хотели спасти мир – мы, славянские студенты.

Кто знает? Может быть, все однажды растворится в искусстве, которое не будет знать, ни чего оно хочет, ни что означает то, что оно говорит. Может быть, исчезнет речь, и письмо, и осознание: вот это смерть, а это любовь, вот это весна, а это музыка. Кто знает? Вспоминаю: я в письмах тогда подписывался «бедный Йорик», а мать моя целыми днями ходила по соседям и спрашивала, что это такое – Йорик. Так жилось до войны. Я был юн, и у меня были такие красивые, стройные белые крылья и плечи.

Радулович принес мне краюху черствого хлеба. Мы лапали каких-то грязных женщин и везде покупали шоколад. Из Злочова<sup>1</sup> принесли набитые едой ранцы. На

1    Уездный город в Восточной Галиции.

площади повесили нескольких русин. На главной дороге по нам ударили тремя тяжелыми снарядами. Было уже довольно много мертвых. Мы привыкли.

Леса становились все красивее и красивее; золотистые, багряные, молодые леса. Тоска давила мне грудь. Ночью меня терзал тихий озноб, я покашливал и, сгорбившись, брел дальше. А леса, багряные, молодые и увядшие, с теплым сладким туманом, оберегали нас, хоронили нас и вливали этот свой туман в нашу душу, навсегда – на всю жизнь.

«Пак, пак», – стучат пули по деревьям. Мы примкнули штыки. Это было около полудня. Никто понятия не имел, где русские и куда мы идем. Плотные заросли и колючий кустарник исцарапали нас. Мы вышли из леса; двинулись по какому-то жнивью на холм. Некоторые из нас шли впереди остальных. Когда мы поднялись наверх, перед нами внезапно открылась долина. Вдруг загремело и справа, и слева от нас. Меня засыпало землей, и я скатился в картофельные грядки. Зарылся лицом в землю и дышал, дышал. За нами под градом шрапнели страшно вопил и дрожал лес. Рядом со мной кто-то стонал, потом запел. Я поднял голову. Вся его голова за ушами была в крови, он жевал кровь и давился. Потом выпрямился и так сидел, пытался петь и поминал жену и детей, на-

зывал меня по имени и смотрел на меня, только на меня смотрел. Я зарылся головой в землю и молчал. Солнце пекло. Вокруг меня бегали и кричали. Я уснул.

Этот сон нападал на меня, стоило мне прилечь.

Когда я проснулся, туман, вечерний туман опять спускался на нас. Из-за леса промчались два автомобиля. Мы тихонько поднимались. Спускались с холма обратно в лес, один за другим. А когда стемнело, опять начали двигаться по полям. Курили и смеялись. Мой взвод тихо напевал. Я и к этому привык. Мы опять шли, шли. Мимо батарей, устроенных рядом с мокрыми, страшными, темными лесами.

Третий день шел дождь. Русский окоп на пригорке, весь залитый водой, словно вымер. Наверное, они отошли куда-то назад, в землянки. Леса дымились, полные облаков. Мы уже третий день лежали в окопе, тесно, вповалку. Окопались здесь под сильнейшим огнем.

Меня трепала лихорадка. В тот день какой-то учитель из Сомбора<sup>1</sup> перебежал на ту сторону, и меня толкали кулаком в грудь и пихали. Я смотрел вокруг себя мутными глазами и напевал, и посвистывал. И опять было слышно, как рассказывают о празднующих славу<sup>2</sup> и о жаренном на вертеле мясе, о драках в пивных, о женах, и как читают

1    Сомбор – город в Воеводине.

2    День святого покровителя семьи.

*Сон Пресвятой Богородицы.* Три словака целыми днями мучились, пытались что-то приготовить на свече. Мы накрылись сверху полами палатки, но она промокала, протекала. Мы сидели, мы лежали в грязи. Тяжкой была и та гонка по Срему<sup>1</sup> и сожженной Посавине<sup>2</sup>. Скверно было и там, у Рачи<sup>3</sup>, в воде, но теперь был настоящий кошмар, в море грязи. Все мокрое, дождь, разрушенные дома. Вода, которую мы пили, была с грязью, хлеб был полон грязи.

Он пролежал перед нами в грязи всю ночь, только сейчас мы его заметили. Затащили его в окоп. Он лежал окоченевший, грязный, провонявший. В правом кармане у него был хлеб, а в левом – тринадцать форинтов и двадцать шесть крейцеров. Надо было заполнять документы. Было известно, откуда он. Звали его Лалич. Большинство предлагало не отдавать деньги офицеру, а оставить себе и пропить. Говорят, если бы он мог, он и сам бы так распорядился, он любил угощать.

После полудня опять загрохотали пушки. В клубах желтой земли и грязи, взлетающей фонтанами вверх, исчез русский окоп. Мы потихоньку вылезли из своего окопа и было побежали. Но большинство шло спокойно, медленно, бежать ни у кого больше не было сил. Пошли не торопясь. Слышен вой, вокруг грохочет земля, разры-

1 Срем – часть Среднедунайской низменности в Хорватии и Сербии.

2 Посавина – бассейн р. Сава

3 Рача – город и одноименная местность в центральной Сербии.

вы, иной увернется, кричит. Я шел, шатаюсь под грузом, меня сотрясала лихорадка. Чувствую, рядом со мной кто-то идет. Мы оба изнемогали. Земля взрывалась, вставала дыбом. Я видел желтые шинели русских, выбегавших из окопов. Проволока и земля перед их окопом вздымались в барабанном грохоте пушек.

Я добрался до проволоки. Один вертелся передо мной, наклонялся и подпрыгивал. Пуля пронзила его с головы до ног. «Пойдемте», – говорит Радулович и поднимается. Рядом с нами бегут. Я вижу, как у них из носа кровь льется на грудь. Рядом с нами бегут, закрывая саперными лопатками лбы. Прыгают в окоп, кричат страшно, идут со страшным ревом на штыки.

Я не залег, я шел медленно. Сейчас меня убьют, наверняка убьет один из этих больших, желтых, дородных русских, что как бешеные, прыгают прямо на меня.

Залег. Резерв скатывался через меня в окоп. Везде лежат в грязи оскалившиеся люди. Я не знаю, почему все раненые полураздеты, и они так кричат, ох, так смиренно кричат.

Я лежал в повозке и видел только согнутую спину того, кто понукал и при этом подбадривал клячу – «пр... пр...». Повозка едва тащилась по грязи. Он часто оборачивался и шурился из-под шапки. Еще кто-то лежал рядом со мной. Мы проезжали мимо опустевших деревень.

Несколько несчастных, страшно бедных евреев в обносках. Красивые русские церкви, мокрые леса в дымке. Грязь, безобразное море грязи. Собаки бегают по деревьям. Собаки и несчастные, грязные, забитые еврейки. Девочки двенадцати лет, десяти лет, предлагают себя. Везде повозки, изнуренные лошади и бесконечные грязные дороги. На улицах лежат раненые.

После полудня за нами приехали автомобили. А Солнце нежаркое, доброе Солнце разливалось по домам и дорогам. Я прилег на попону, меня сотрясал кашель, и на моем грязном платке после кашля оставались алые капли моей крови. И тут я тоже уснул.

Мы остановились в каком-то дворе. Какие-то фонари качались вокруг нас. Одного за другим нас поднимали и уносили. А утром, желтых и полумертвых, нас отвели в баню; из других дверей мы выходили, смеясь. Я подошел к окну и увидел внизу белый городок, полный ручьев и мельниц.

В зеленом плаще, в фуражке без околыша, я, как странная тень, улыбаясь, брел вдоль ручьев, на которых пели водяные мельницы. Они пели, они пели для меня: они знали, откуда я, а у меня была улыбка на лице. Какие узкие переулки. Старые женщины смотрели на нас с тоской и печалью. А Солнце? Это нежаркое Солнце; я его никогда не забуду. На моих руках подрагивало что-то теплое и страстное. Жизнь, юная жизнь так искусно играла в бильярд в незнакомом трактире этого города, а вовсе не я.

Кто ты? Кто ты, с теплыми, золотистыми глазами в вечернем тумане? Разве я еще не настолько болен и нежен, чтобы тебя коснуться? Как твоя польская речь туманна и нежна. Почему ты так добра ко мне, это же не твое ремесло. Почему ты так ласково смотришь на меня? Твоя блузка падает мне на голову, и горит, и мучает меня; лихорадка сотрясает меня. Кто ты, дивная, прекрасная, страстная, меж зеркал и рюмочек в полумраке трактира? Я не хочу тебя, я хочу, чтобы ты вышла наружу. Слушай, ты видела те родники, послушай, как ласково они журчат, как нежно плещутся. Мне, и правда, жаль, что я не умер, но так действует осень. Это нежаркое Солнце, что растекается по домам, белым и чистым. Чего хотят эти леса от меня; оттуда, из-за холма они меня зовут и весело вместе со мной смеются. Почему я так нежно касаюсь стен? Куда я иду, у меня в этом городе никого нет, я не знаю дороги. Почему на меня так смотрят эти старики?

Смотри-ка, сласти. Зайдем сюда. Девушки сидят, прибранные с провинциальной элегантностью; мои пальцы путаются. Ножички маленькие, серебряные, разве вы стыдитесь моих рук? Заросли грязью, которая не сходит, а кривые, растрескавшиеся ногти вас пугают. Девушки, немного легкого поведения, немного испорченные девушки, хихикали, а я улыбался. Выбрал одну. Эту хочу. Кто мне улыбается? Ее звали Луся, Луция. Она много смеялась, всему, у нее были чуть потертые перчатки. И я начал упрасивать ее, смешно и добродушно. Я забыл о возжелении и только смотрел на ее теплые, я заранее предвкушал, теплые губы. Ее подружки, смеясь, оставили нас одних. Мы шли мимо ветряных мельниц. Она



опасалась, что ее увидят. «Если бы не ваш студенческий значок, я бы не позволила вам меня провожать. Вы думаете, что я испорченная?» О, что я думал? Мне было очень смешно. Только она сердилась, что я болен, думала, что раненый. Ей не нравилось, что я такой дикий. Сказала, что лаской от нее можно добиться большего.

Вечером, помню, было странное небо. Осеннее небо, всегда странное. Я оказался перед госпиталем, она ждала. Дрожащими руками доставала ключ и показывала мне его, но она должна была вернуться до полуночи. Мы пошли по улицам, где летала багряная листва. Она спрашивала у меня, какие у сербов церкви, и щипала меня в исступлении страсти. Она захотела кататься; один старый извозчик повез нас. Она лежит у меня на груди и расплетает косу. Такие светлые волосы, мягкие, без того тяжелого, дурманящего запаха, что бывает у черных волос в темноте. Вокруг нас качались фонари. Под желтыми, золотыми лесами, по пригорку, покачивалась и подпрыгивала повозка, а небо было усыпано звездами.

Где-то далеко, на юге, в тот час обо мне молились старые женщины. А где-то далеко, на севере, мои солдаты, грязные, завшивевшие и голодные, лежали в грязи, дрожа от холода, и угрюмо ждали, где упадет снаряд.

Мы доехали до леса и пошли пешком. Она испуганно жалась ко мне. Тут недавно солдаты зарезали какую-то девушку. Мы вошли в лес, черный, с багряными верхушками. Листва падала на нас, а розоватый лунный свет лился сквозь деревья и доводил до слез, до болезненной нежнос-

ти. Я целовал ее так, как будто на всем белом свете у меня нет никого, кроме нее. Она, обезумевшая, измученная, тяжело дыша, горько шептала, как все мерзко, как ее все обхаживают, и какие все негодяи. Мать ее целыми днями мучает, а она все-таки хочет остаться порядочной. Городок внизу светился в розовом лунном свете, а прусская граница, со своими белыми камнями, шла возле нас по кругу. Ее белое белье было надушено. Это наивное внимание, эти приготовления меня тронули, и я ей об этом сказал. Она обиделась. В темноте я едва различал ее голову, но ее руки были невыразимо ласковыми. Она боялась только, что я подумаю о ней плохо. Далеко вокруг нас белело местечко, с домиками, маленькими, как детские игрушки. Вдруг она тихо вскрикнула. Птица взлетела и ударилась о ствол. Она вскрикнула, словно от боли, и посмотрела ей вслед. Под лунным светом она была пугающе бледна и прекрасна. Внизу, в местечке, играл военный оркестр.

Кому я это пишу? Юношам; может быть, моему сыну, бледному и истрадававшемуся. А вокруг меня клокочет безумие войны, всё подо мной рушится, и я, улыбаясь, смотрю на эти толпы и иду от города к городу. Смотрю на толпы опустившихся женщин, на толпы негодяев-торговцев, на толпы рабочих, толпы больных и толпы мертвых. На бесчисленные города, на леса и поля; на мрачные, холодные вокзалы. На детей и женщин. На пьяную ораву тех, кто сейчас богатеет. Все это я вижу и смотрю на все с улыбкой. Я ничей, никого у меня нет, ни брата, ни слуги, ни хозяина. Я смотрю на тихие, голубоватые, мокрые

весенние улицы. На стройные, пунцовые мосты, на закате Солнца, когда я их больше всего люблю. Они меня видят всегда бодрым, иногда, редко, усталым, почти всегда улыбающимся, никому не принадлежащим. Я рассказываю это тихим и мокрым весенним улицам, шагая по водам и городам, желтым от осеннего сияния, о ней, стройной, бледной, чистой и неуловимой, о ней, о юности. Кто знает, куда и зачем она меня ведет, я иду за ней. Ей – окровавленные перелески, ей, только ей – мертвецы, ей – моя здравица; ей кланяюсь, перед ней преклоняю колени, только перед ней – доброй и вечной. И моя любовь, расчетливая и ироничная, уже давно не бравурна. Ах, все это так смешно. Я обессилен, грустен и задумчив. Юность не дается мне, чтобы ее прожить. И я сражался на Пон-Нёф. В видениях белых понуро брел с Императором и я, по понтону, через Березину. В безумных видениях и я лежал у ног Нерона, когда Рим погибал в море огня, а Поппея, со стройным станом, проходила рядом и посмеивалась над дружком, который с пеной у рта выкрикивал имя Гомера и воспевал море на закате Солнца. Сидел и я с рыбаками, и скитался по докам, где девушки предлагают себя так дешево, и, отставая, по колено увязал в грязи и снегу у железной дороги; скитался по мрачным лесам, где умолкли птицы. И плыл на пестрых лодках с рыбаками с Хиоса, и тихо купался на заре, восходившей в слезах, а уста ее были ароматны и чисты. В темных метелях я сидел над Камчаткой и смотрел, как медленно раскалываются на части утесы, и грохочут, и дрожат во льду, словно тысячи скелетов и горы голых черепов. В душе моей прошел легкомысленный Бальзак, с растрепанными волосами, и пронесся генерал Боливар, залитый кровью и молодой; а ночью

я возвращался домой и видел детей, по шестеро в одной постели, в лохмотьях, на сыром полу. Я лежал вечером, дымчатым от сирени, в объятиях женщины, с затуманившимся взором, глядя на море за кладбищем Сплита. Так я освободился и отсекся от всего. И ничто меня больше не связывает ни с добром, ни со злом. Потрясенный и напуганный, держу свою маленькую жизнь в руках, дивясь ей, как черный евнух, держащий в руках перстень султанши, пока она принимает ванну. Юность в моих руках, но она не моя. Я утомленный, довольный, задумчивый и улыбающийся. Подумаешь, убили три миллиона человек. Мы свободны и знаем, что везде в мире небо одно и то же, и оно голубое. Смерть пришла опять, как когда-то давно, но за ней приходит свобода. Мы знаем, что небо везде прекрасно, и ничто не может и не смеет нас удержать. Все погибло, но все это разнесется страшным криком от океана до океана. Сосредоточенные и бледные лица, все эти лица, все эти горькие, мужские, усталые головы, когда они вернутся с необозримых кровавых рубежей, то пожелают того, на что до сих пор осмеливались только растения, и леса, и облака. Мы научились испивать жизнь глубже, чем когда-либо от сотворения мира. С ужасом, со страхом, внимательно, я всматриваюсь в жизнь и держу ее в дрожащих руках, и вижу вокруг себя леса, и дороги, и небо.

На рассвете я подъезжал к дому. Утес стоит весь зеленый, а Солнце здесь пахнет лесом, где и я танцевал однажды теплой ночью в лунном свете. Где и я слушал здравицы портняжек и тихий одинокий шепот барышень.

Смешные окопы, что должны были защищать от Белой Церкви, от сербов, которые не пришли, зевают и спят, и подставляют себя солнцу. Тогда из тумана появляется передо мной мой старый дом, чтобы меня встретить. Умолкаю, мой голос едва слышен, схожу с поезда, сгорбленный и усталый. Звонят колокола, всегда, когда я возвращаюсь домой, звонят колокола.

Меня встречают и плачут. Моя мать умирает. Меня отводят в какой-то незнакомый дом. Тетки меня обнимают и плачут.

Солнце, ближе к ночи, облило своим светом пшеницу, и я успокоился. Ничего мне так не жаль, как самого себя. Когда вспорхнет какая-нибудь перепелка, я вспомню о земле, ложусь в горячую траву и молчу. Жду вечера, чтобы меня отвели к матери.

Лунный свет, влажный, со светлым челом, появляется и ложится на колодцы. Сердце встрепет, оседлает падающую звезду и кубарем скатится вниз. Падает перед нами, мы его поднимаем и смотрим на него, а оно улыбается. Вокруг нас, поблизости, течет вода; запеваем громко, вдруг замечаем какое-нибудь темное дерево и опять умолкаем. Ложимся и вбираем звездную ночь грудью; сердце больше не стучит. Слабые усталые руки перебирают землю, и она появляется под пальцами, дыхание ее глухо и бесконечно заполнено тьмой. Где-то за домами звякнет серп, и подступят слезы. С тополея опадают листья, а еще не осень. Но она, однако, уже в зарослях кукурузы. В кукурузе за домом, где мои тетки выйдут их встретить. Они никогда не отступают. Эти офицеры

всегда молоды и красивы. Все их офицеры молоды и красивы. Все уже готово. Певческое общество и крестный ход пойдут перед ними. Они придут в мой дом; старинная серебряная посуда готова. Они придут. По кукурузе, ночью, приходит осень. Никто ее еще не видит, только на заре выпадает роса. А далеко, за акациями, где-то далеко на горизонте, где даже поля бурые и отливают медью, стоит одинокое дерево, стоит уже годами, смотрит на меня и трубы моего дома.

\* \* \*

Тетки мне рассказывают. Я вижу венгерские и немецкие города, занесенные снегом. Светятся окна валашских домов, где их охотно принимали. Жили всегда на чужбине. Мы переселялись, переселялись. А чахоточными мы умирали дома, в родном краю. Падает снег. Пустые переулки, рваные черные пальто. Тамбурицы поблескивают под мышками, а песня только отзовется эхом под скривившимся пьяным фонарем. Вздогнет коло. Снаружи падает снег, а внутри черные глаза горят жаром. Этот жар, неодолимый, неодолимый, как запах равнин, что уже видят осень, как она ночью наползает из кукурузы, а утром уходит по росе.

С болезненной, горькой усмешкой смотрю на них на всех. На себя, сгорбившегося и измученного, слышу себя, как покашливаю; и смотрю на того, кто где-то в Одессе, и, может быть, уже среди них; и на того, кто полупьяным выдвигается на одну из самых страшных позиций при

Капоретто<sup>1</sup>; да и на того, с грудью, увешанной медалями, что сидел у леса и думал, может быть, обо мне, но погиб в вихре обстрела.

Повсюду носятся толпы людей, скитаются. Вон они, как скот, ломятся к Городенке<sup>2</sup>, и гибнут, гибнут, как скот. Вон они, убивают друг друга, убивают в грохоте лесов и в грязи, в агонии кровавых рук и мыслей. И еще миллионы готовятся в своих местечках, в море высоких, вавилонских башен, где вихрь стали и грохот железа, рядом с необъятными гаванями, полными кораблей. А уродливая Свобода стоит и смотрит на океан. Только там, где сияют окна на македонском солнце, где отовсюду выглядывает нищета, там разносится песня.

Падает снег. Из леса под Черной<sup>3</sup> приходит Рождество, тихое надгробное пение и красное вино по домам. Под ветвями деревьев, полных снега, тишины и Рождества, они приходят, без дома, без детей, окровавленные, гордые, последние.

Они должны были прийти. Мои тетки их ждут. А там, где их вижу я, когда прихожу в себя, там вижу

- 1 Во время Первой мировой войны на реке Изонцо произошло двенадцать кровопролитных сражений за обладание Австрийским Приморьем, во время которых итальянские войска пытались прорвать оборону Центральных держав. Битва при Капоретто, называемая также двенадцатой битвой при Изонцо (24 октября – декабрь 1917 г.), была одним из крупнейших сражений Первой мировой войны. Австро-германские войска перешли в наступление и полностью разгромили итало-франко-британские силы на этом участке фронта.
- 2 Город в современной Ивано-Франковской области Украины (историч. Галиция).
- 3 Черна – село в Закарпатской области Украины (историч. Галиция).

только бурые поля, отливающие медью, засыпанные окопы, пустые и заросшие травой, как могилы, и кукурузу, из которой приходит осень, хотя в городе ее еще никто не видит.

Меня допустили к ней, когда она была при смерти. Она потеряла почти все зубы, и вид этого рта вызвал у меня какой-то сильный, затаенный страх. Вокруг нас было много бабок и теток моих, которые вечно говорили о болезнях и покойниках. По всей комнате расстелили простыни, смоченные водой с уксусом. Ее ноги выглядывали из-под шелкового покрывала. Она все улыбалась и тихо произнесла мое имя, просила меня, чтобы я прилег и отдохнул с дороги. Она рассказывала мне, как она была одинока в последнее время, и как страшно трясло, и как ее толкали, когда она последний раз ехала железной дорогой. Как ее обворовывали во время болезни, и как в последнее время она хотела умереть. Мне надо найти ее портрет, который написали, когда ей было восемнадцать лет. Об этом портрете, мучаясь, она долго говорила и просила меня, чтобы я всегда держал его на своем столе.

И только я прилег в предрассветный час, как меня разбудили крик и пение женщин.

Она умерла и не позволила меня будить.

Старые женщины подбирали юбки и носились по двору, плакали и метались; одна рухнула рядом с постелью и запричитала. И этот плач по покойнику прорывался, как и вой напуганных собак со двора, сквозь все



двери и все стены. А как только рассвело, я увидел, как суетливо бегают по дому какие-то женщины, разливают вино и пьют ракию. Какие-то незнакомые старики подходили ко мне и требовали ключи. И когда я, весь опухший от тяжелого сна, бродил по дому, я почувствовал, как будто по приказанию из комнаты умершей, что все готово. Меня обуял дикий ужас. Я стоял у окна, засмотревшись на крыши, большие и пустые, на стену церкви, и дрожал. А когда, держась за голову, увидел сквозь занавеску, как ее голую поднимают и обмывают, желтую, почерневшую и высохшую, но при этом пьют ракию, я почувствовал, что мне стало безумно страшно.

Пришел протоиерей. Он читал молитвы, поглаживал брови, отходил в угол и искал плевательницу.

Мои глаза совсем ослабели. Я спрятался в одной из комнат, где было много маленьких шелковых подушечек, со старинной вышивкой и узорами. За мной пришли, потому что меня искал протоиерей. Он рассказывал мне о матери, потом вдруг начал говорить на латыни, засмеялся и вспомнил академию для слепых гусларов в Ириге<sup>1</sup>, сидел и все время поднимал палец и повторял: «*Quo usque tandem abutere...*»<sup>2</sup>

А причитания все время раздавались из всех комнат, из всех стен: «Ой, ой... поднимись,... взгляни на своего прекрасного единственного сына... ой». А мне было тошно. Эти причитания гнали меня вон из дому. Тогда, вдруг,

1 Город в области Срем, Воеводина.

2 Доколе же ты, <Катилина>, будешь испытывать наше терпение? (лат.).

я услышал, на лестнице, что кто-то собирается проткнуть мертвое тело иглой, в сердце, насквозь. Во мне что-то щелкнуло, как бич, я развернулся и ворвался в комнату. Я увидел только каких-то баб, на стульях, как они крестились, сидели и сидели, со свечами в руках и повторяли: «Ой-ой, дорогая – надо бы спросить тетку». Когда я влетел в дверь, они все испуганно вскочили.

Тогда моя рука немилосердно пала на первую подвернувшуюся голову; я дико закричал; комната наполнилась страшным визгом, стулья попадали, а бабы бросились к дверям, завывая страшно.

Похороны были на следующий день.

Шел дождь, и мы шли по грязи. Дети со свечами, крича, а попы по нечистой брусчатке. Шел и шел, вот так, не останавливаясь, по грязи, с опущенной головой. Я почувствовал, как все страшно. Кладбище было далеко за городом, там, где пороховые склады, бесконечные ямы с навозом и черепичные мастерские. Высоко на пригорке, под тополями, была наша гробница. Меня водили по кладбищу то вправо, то влево. Гроб несли с трудом, пару раз казалось, что они вот-вот его уронят; тогда все вскрикивали. На кладбище было полно народу, все растеклись к своим могилам, и плакали, и причитали. Помню, меня остановили у свежевырытой могилы. С какой-то ветки стекала дождевая вода, капля за каплей, на мои руки. Я подумал, что надо бы отойти, но остался там и засмотрелся на эти капли. Певческое общество грянуло, и меня обдало запахом ладана. Я видел

протоиерея, как он вращал глазами и начал говорить о покойнице.

Долго говорил. Кто-то меня толкал слева, и теперь капельки одна за другой, тяжело, медленно падали на мои волосы. Протоиерей воздевал руки, а мои тетки громко причитали. Тогда рядом со мной поднимается некий господин в черном и начинает говорить. Тетка склоняется к моему уху и шепчет мне: «Видишь, детка, это господин председатель». Он говорил что-то о благотворительнице, потом про какой-то трехэтажный дом в Араде<sup>1</sup>, который она оставила местной церковной общине. Он разрывал фразы, дышал тяжело и заикался. Двое маленьких школьников стояли перед ним; они тайком щипали друг друга и толкались подсвечниками. Вдруг этот господин повышает голос: «Мы можем сказать, и не только церковь, но скажу, что и наши школы ее...», — его глаза расширились в испуге, он запнулся, вздрогнул и начал толкать кого-то рядом стоящего, шепча: «Йоцо, Йоцо, wie heist man das..., im Gottes Willen<sup>2</sup> — фонд, да, благотворительный фонд, можно сказать. Пусть земля, пусть земля ей будет пухом», — добавил он быстро, вздохнул тяжело и затерялся в толпе. Гроб опускали, на него начали падать комья земли. Одна из моих теток упала поперек могилы, отчаянно крича.

А потом мы вернулись. На столах было множество украшений из цветной бумаги. Я засмотрелся на красивый старинный килим и не сводил с него глаз. Прото-

1 Город в Румынии, на границе с Венгрией.

2 Как это называется... господи помилуй... (нем.).

иерей через стол меня все время утешал, а рядом с собой я внезапно заметил очень красивую женщину, которую не узнавал. Она подавала мне рюмочки с вином и спрашивала, не устал ли я и не прилечь бы мне. А я никак не мог ее вспомнить и спросил тетку, кто она, а тетка улыбнулась: «Ты забыл Мацу, самая красивая девушка, приданого особого за ней нет, но раз я тебя сватаю, не пожалеешь». «Душенька моя», – вздохнула тетка и взглянула на зардевшуюся девушку. Попы долго сидели и разговаривали о покойнице. На столе горели тяжелые, пахучие похоронные свечи. Маца писала извещения о смерти. Она была очень красивая, «здоровая», как сказали тетки. Да и я, если оно и есть, редко замечаю в женщинах что-то некрасивое. Ее глаза и густые черные волосы, плечи и шея, где прятались голубые, синие вены, напомнили мне о каком-то гареме в романе – а я часто читаю романы. Да, и все мы говорили о романах. Да, и она только что спросила меня как раз о каком-то романе и сказала: «Ах, помилуйте, все это ничего не стоит; три года он ее водит за нос, а потом она топится, а он никак тому не препятствует, и в то же время называет ее канарейкой». В ее красоте было что-то тяжелое. Черное платье не сумело мягко объять ее стан, а лежало на ее коленях, как тяжелый килим на постелях. Я почувствовал запах похоронных свечей, и вдруг еда мне стала отвратительна. Я отодвинул от себя тарелку.

«Вам надо жениться, – сказал мне протоиерей, – без жены и детей вы не настоящий мужчина». Тетки мои засмеялись и заплакали, и подняли гвалт, крича громко: «На Маце, на Маце», подошли ко мне, целовали меня и гладили по голове.

А тарелки позвякивали, и все время слышалось: «Эх, где уж ей было подняться, а он, вот, приехал. Так она его хотела повидать, и вот, ушла». «Ушла», – повторил протоиерей, уставившись на свечи, что становились все желтее и все сильнее пахли. Запах похорон остался на столе, в кушаньях, только в вине его не было.

Когда меня, бледного и понурого, отвели в комнату спать, они долго меня целовали и смеялись, чтобы меня развеселить, но все это было не от чистого сердца.

Мой холодный взгляд и отстраненная улыбка, мутная и ехидная, пугали этих старых женщин. Рядом с постелью я обнаружил какие-то старые выцветшие брошюрки и открытки с курортов, которые она когда-то подписывала «твоя Дунда»; какие-то виды Карлсбада, офицеры, любительские спектакли и одна очень старая роза. За топящейся печью спрятался похоронный запах и, как будто, тяжелый запах цветов, и они подкарауливали меня, чтобы принять в свои объятия.

А за дверью стояла моя старая тетка и мучилась, пытаясь разглядеть меня сквозь занавеску; ей казалось, что я не дышу. Я знаю, она думала про себя: «Он как будто и не наше дитя; как он, должно быть, исстрадался, где только ни пришлось ему засыпать, то-то он такой потерянный. Бледный и кашляет. Все говорят, что он толстеет, а я говорю, нет, все тлен. Господи помилуй, он как из воска, как те куклы в панораме. Правильно Еца говорит».

А потом? Потом опять проходили дни. Я вставал в полдень. Осень опять стала теплой, и Солнце взошло.

Каждый день я ходил на кладбище, в детстве я больше всего там любил играть. Где-то упала черепица, где-то повалился забор. А еще было много голубей. Я открывал калитку, что вела в церковный двор, где в высокой желтой траве было полно кур и собак, собиравшихся здесь. Я проходил мимо маленькой школы, откуда слышались веселые голоса детей, и мимо дровяных складов, что чередой тянулись до самого кладбища. Все эти склады были в руках моих теток. Желтая вода, а на ней мирно стояли черные баржи, на ветру, разносившем по берегам песок и перья. Деревья потрескивали на ветру, а я подолгу сидел перед нашей гробницей. Сквозь позолоченные решетки я видел венки из базилика на стенах, деревянные кресты и лица многих моих умерших бабушек. Полные, слабые женщины смотрели на меня, и попы с лукавым выражением лиц, как это бывает у покойников в солнечный день. Много офицеров с Границы<sup>1</sup>. Обо всем этом я не думал. Я приходил и сидел тут часами. Потому что меня никто не ждал, и я сидел, потерянный, подолгу.

Но когда я возвращался, по темным улицам, меня подкарауливали и отводили к себе домой. Тетки решили меня женить, и женили меня. Все знали, что меня надо женить, и женили меня. Много решали за меня, как и на войне. Были такие, что посмеивались над моим желтым цветом лица, но девушки говорили, что я красивый.

1    Военная граница – пограничная область на юге Габсбургской империи, прикрывавшая границу с Османской империей, существовала до 1881 г.

Сначала меня подкарауливали попы. Они вели меня к себе домой, где кровати были широкими, а на окнах краснели глиняные миски, полные вишни и черешни. Они разговаривали со мной тихо, с улыбкой, о новом венгерском катехизисе, который им хотят навязать, и опускались, упитанные и тяжелые, на мягкие стулья. Их жены слегка расстегивали блузы на груди, а в прическах было много шпилек, волосы неприбранные, спадавшие на шею.

Они почти не смеялись, но часто усмехались. Жены их смотрели на меня очень ласково, мягко; иногда они невольно скрещивали ноги и испуганно краснели, если замечали, что их красивые полные икры сверкнули белыми чулками до колен. Они быстро их закрывали, оборачивались мгновенно к мужьям и со смехом говорили: «А что ты не спросишь господина, не женить ли нам его?»

Меня ненадолго приласкала их сердечная улыбка и пожатие руки, а потом вновь меня охватывала гадкая скука, взгляд упирался в их руки с нечистыми ногтями. Часто случалось, что попадьи окружали меня одного в какой-нибудь смешной гостинной, полной стекла и бокалов, с раскрашенным изображением косовских героев. И пока красивая белая кошка сворачивалась клубком у меня на коленях, они нападали на меня, почему я не женюсь, хвалили и защищали всех мужчин в городе, а больше всего каждая своего мужа. Меня, удивленного, развеселил их здоровый и порочный смех, нашептывавший мне о непреходящей прелести маленьких и шуточных грешков. Они были лучшими матерями, но охотно сиживали, такие

зардевшиеся до полных грудей, тихо посмеиваясь над репликами, скользкими и бесстыдными. А если я осмеливался в темноте приобнять одну из них, то встречал неистовый и желчный отпор, упоминание детей и мужа. Я, испуганный и пристыженный, стоял перед ними и с позором удалялся. Они прозвали меня «фройляйн», и весь город с тех пор называл меня так.

Когда я с улыбкой выходил от женщин, меня встречали попы и утешали.

Черные и тяжелые, они обо всем говорили с лукавым презрением. Их мягкие, очень мягкие руки устало гладили мои; они рассказывали мне о тех пустующих церквях, которые я так любил. Они очень смеялись. Охотнее всего говорили о крестьянах. В темной комнате, за столом, заставленным бокалами с вином, с вином, в которое опускали веревку, чтобы оно не закисло, из их слов возникали головы крестьян, лохматые и небритые, с маленькими хитрыми глазками и униженным выражением лиц. И все было сыто и пьяно. В их рассказах крестьяне эти были тяжеловесными, как волы. Глупые, иной раз сметливые на охоте и в обмане, сильные, как корни сосны, в алчности и отъеме земли. Отцы, смотревшие, как их дитя умирает за пыльными крошечными оконцами, в низких комнатках, где копошились куры; женщины, сегодня родившие, а назавтра уже встававшие чистить хлев; и дети, едва подросшие, валявшиеся на соломе, маленькие братья и сестры, игравшие в убогие и блудливые игры. «Ну, это везде так», – смеялись они. Ошеломленные святые взирали с оштукатуренной



стены, белой и чистой, а глупые лица ходили кругами вокруг пней и овец. Не было ни одной приятной картины в их словах о бескрайних полях кукурузы, а в низких домах были видны лишь тени, печальнее теней животных.

Только по воскресеньям появлялись смешные, наряженные девушки, намазанные и покрашенные, и толпы черных, пьяных крестьян. А под густыми крестьянскими бровями стариков сверкало горькое, страстное желание и гневное лукавство, касавшееся всего, кроме земли, на которую эти глаза смотрели с сумасшедшим радостным блеском. Но все эти картины путались самым скверным образом, стоило им заговорить о любви. Тогда они в темноте кружились и топтались, эти бедные крестьяне, в безумных толпах, голые и пьяные. Бежали избитые женщины с усохшими обвисшими грудями, щербатые и смердящие от пота. Они извиваются в родовых муках или лежат на земле, окровавленные, стеновая от страданий; рвутся на части от боли из-за разных снадобий от зачатия. Под окнами лежат кровавые трупы заколотых любовников, в блестящих сапогах. В темноте сверкают на их жилетах серебряные пуговицы, а за печью сидят несчастные сморщенные бабушки, с кровавыми загноившимися глазами, босые и высохшие, как ветки и тряпки. И все эти картины были политы и орошены вином, кровью, покрыты бранью и одеты в лохмотья. Напрасно я пытался их умиротворить, меня подавлял их громкий поповский смех. Церковки их, пестрые и маленькие, были заполнены раскрашенными святыми, кадилами и толпами тех, что крестятся, согнувшись и глядя глупо. А шутка уже набрасывает сальную и пьяную вуаль

служанок и разбойников на подворье владыки и на все монастыри. Потом я выходил из поповских домов усталым, а они мне предлагали невесту. Пыль, пронизанная солнцем, падала передо мной, и я проходил сквозь нее. Где-то отваливалась черепица, где-то падал забор.

Меня подкарауливали торговцы и силой уводили к себе. В домах не было гостиных, и меня вели в уродливые светлые комнаты, где стояло пианино, а рядом с ним пальма и много Святых Иоаннов.

Жены торговцев были худенькие и маленькие, они меня встречали, вздыхая, окруженные детьми, множеством детей. За моей спиной испуганно стирали каждую пылинку, ловили каждое мое движение и вспоминали прошлые времена. Все вспоминали убийство князя Михаила<sup>1</sup>, так они вспоминали о своем детстве, потому что точно не знали, когда родились. Их костлявые, бедные натруженные руки обнимали детей и прикрывали тощие, выпирающие бедра свежими и румяными головками своих девочек. Их смешные пестрые юбки кружились. Они смотрели на меня с тоской, когда запутались и не сумели разобраться в Балканском союзе. А я забывал всю свою жизнь, казавшуюся мне и смешной, и безумной, и подолгу сиживал у них. А они говорили, грустно и мягко, измученные и слабые, носили с собой горячую черепицу, прижимая ее к промерзшим ребрам. Мужья их пахли уксусом, входили тихо и уходили скоро. Девушки на выданье смотрели на меня исподлобья и много мне играли на фортепьяно. Они опять меня спрашивали, читал ли

1    Князь Михаил Обренович был убит сторонниками Карагеоргиевичей 10 июня 1868 г. в парке Кошутняк близ Белграда.

я *Санина*<sup>1</sup>, а я вздрагивал, когда они проходили мимо меня. Они опять меня спрашивали, читал ли я *Санина*. В ароматных шкатулках, под расписными веерами, они хранили расписание торжеств на день Святого Саввы и портреты актеров из Пешта. А когда вокруг меня собирались давние подружки детства, они, жеманничая, милостиво и бесстыдно разрешали услышать их маленькие секреты и листать их книжечки, где на переплете стояло «*Ромео и Джульетта*», Шекспир, в издании Братьев Йовановичей в Нови-Саде», а внутри был набор широко известных анекдотов и картинок. И так я опять сидел, под сенью дев, а они весело хихикали вокруг меня, гасили свечу и целовали меня, а я не знал, которая из них. Я уходил из тех домов утомленным. «Ой, какой чудной», – кричали они мне вслед. И мне все предлагали невесту, невесту.

\* \* \*

Тетки были полны решимости женить меня, и женили. Они каждый вечер приходили ко мне с Мацей, но я насмешничал и встречал их без радости. А вечера были такими долгими, лили страшные дожди, а эта девушка приманивала меня тихо, но настойчиво.

Она сразу садилась рядом со мной и рассказывала. Сирота без отца и матери, она давно меня любила и ждала, и желала. Меня изумила ее красота, но я был

1 Роман М.П.Арцыбашева (1878–1927), снискавший скандальную известность и переведенный на многие европейские языки при жизни автора.

утомлен. Все это шло так однообразно и спокойно. Тетки мои встречали меня и кричали ей: «Вот, пришел твой жених!» – а она целыми днями была у них в доме.

Шел дождь, и мы подолгу сидели после обеда. Мне было тяжело, лицо мое было и отекившим, и бледным. Кто знает, что творилось в моей душе.

Она меня не оставляла. Ждала меня и приходила каждый день. Отлитая в шелке и прекрасной плоти, она предлагала мне себя тихо и униженно. Она много слышала о моем «безумии» и моей тайной развратной жизни, и это возбуждало ее любопытство. Она подолгу стояла передо мной и смотрела в мои тусклые, спокойные глаза. Тетки нас оставляли наедине, но девушка, немного испуганная тем, чего она ожидала, убегала от меня в темноту и заманивала меня в углы комнаты, на мягкие диваны. Она спрашивала меня о детстве и вспоминала, как мы вместе играли, хотя я этого никак не мог припомнить. Она мне говорила об одиночестве, в котором провела столько лет, и как в такие тоскливые, дождливые дни все время расспрашивала моих теток обо мне. Ее удивляла моя небрежность, спокойствие и скука, и она все время давала мне советы, как мне причесываться, да и сама меня причесывала. А я тем временем пытался ее обнять и боролся с ней, а она оттолкнула меня и сказала: «Ах, ты хуже Санина».

Но потом она мне все прощала и быстро возвращалась ко мне. Сжимала мои руки и говорила, что ей противны провинциальные сплетни и женщины, и что она хочет «жить, жить». Если я спрашивал, что она хочет

сказать этим «жить, жить», она краснела, умолкала, потом улыбалась. Она говорила мне, как мы будем строить дом, описывала вещи, посуду, мебель и о самых мелких вещичках упоминала нежно и со страстью. С трогательной радостью описывала свои портьеры, гостиную и постельное белье, а потом умолкала и смотрела с мольбой. А когда темнота совсем укрывала нас своим крылом, она обнимала меня и шептала, задыхаясь: «Не надо, милый, милый».

И так проходили дни, как-то благостно. Я просыпался поздно, а тетка ко мне входила тихо. Я вставал и ходил неодетый, туда-сюда, и чихал. Каждое утро я много и подолгу чихал. Это была у нас какая-то семейная болезнь.

Со стены за мной наблюдали иконы, украшенные базиликом; народ, который переселялся во главе с патриархом<sup>1</sup> и связанные невольники с девичьими глазами. А я подходил к зеркалу и долго лил холодную воду за ворот и громко чихал. Приходил старик и растапливал печь. Я любил поболтать со слугами. Он скоро разговорился и рассказывал всегда одно и то же, как он разводил в снегу, под ясным небом, какая была лютая стужа, а он бросал вверх шапку и кричал «Да здравствует Полит-Десанчик!»

Вот так проходили утра. Я просыпался, но продолжал лежать, уперев глаза в потолок. Ел без аппетита и, позевывая, читал газету. Засмотрелся на церковный двор. Вокруг рта у меня были какие-то желтые пятна, по утрам

1 Этот мотив впоследствии станет темой романа «Переселения».

я был отекий и некрасивый. Я видел старых женщин перед входом в церковь. Голова моя поникла, словно я был болен. Я видел только памятник на площади, перед церковью, с крестами и святыми.

Промокшая от дождя, приходила она, с руками, полными сластей, и быстро мне что-то рассказывала. Она знала обо всех пороках и всех супружеских изменах, о чем-то имуществе и всех тайнах. Сидела рядом со мной и весело ела. Сиреневая вуаль, мешавшая ей, спадала как тень на ее улыбку. Иногда мелькал ее розовый влажный язык, которым она быстро облизывала сладкое. За обедом всегда были гости, а она весело им прислуживала, будто уже хозяйка. После обеда все осторожно переглядывались, не слышит ли их прислуга, и поднимали тосты за здоровье короля Петра.

А потом все лица сияли беззаботно. Потом пели и говорили о войне. Меня уже называли женихом. Потом все шли в трактир. Она меня провожала, и на кухне, за дверью, в коридоре, быстро подходила, целовала, дышала тяжело и повторяла: «Милый, еще, еще...» Я держал головой от неловкости, а губам было больно от ее зубов. Меня это злило; напоминало мне об одной моей любовной истории, с горничной, когда я с матерью ездил на курорт; даже аромат ее платочка напоминал мне ту любовь. С каждым днем я все больше влюблялся. А она приходила все позже. В темноте, за тяжелыми килимами из Бачки, она целовала меня, несчастная из-за моей нерешительности. Я с тоской начинал ее обнимать, но ее страсть меня все больше душила. Она расплетала косу,

хотя я тайком смахивал с лица эти тяжелые волосы, потому что я не мог под ними дышать. У них был какой-то душливый запах, вызывавший отвращение. Я раньше не мог себе представить такие тяжелые и долгие поцелуи, а она все время вздыхала: «Милый, еще, еще...»

Она вся распластывалась на мне; ее губы становились липкими, и она все время говорила мне о браке: как она постелит постели, как обставит гостиную, и как ее выберут в Женское общество. На улице раздавался тяжелый колокольный звон, и его эхо, доставлявшее мне страдания спустя много лет, мучило меня и сейчас. От этого звона у меня всегда начинала болеть голова, и мне становилось дурно. Я вырывался из ее объятий и оставлял лежащей в смятой юбке. Она приподнималась, прибирала волосы и шептала мне: «Ты вот и не знаешь, что хорошо». Ее груди мелькали в черном кружеве, крепкие и атласные; она, почти обезумев, извивалась в моих руках. Иной раз она прикусывала мое ухо, и ее смех, тогда звонкий и чистый, долго звенел в темноте. А я, измученный, преклонив перед ней колени, склонял голову к ее бедрам и ощущал на лице капли ее пота. Напрасно я пытался встать. Стоило мне взять в руки какую-нибудь вещь, она, смеясь, ее отнимала, и опять целовала меня, бледного и отекавшего. Она извивалась в моих руках и опять рассказывала мне о комнатах и мебелировке. Вспомнила какой-то эпизод из *Девайтиса*<sup>1</sup> и сказала: «Нет на свете ничего слаще». Я видел, что она раскраснелась, сжал ее и раздвинул ее лоно. Глаза ее вспыхнули,

1 Роман польской писательницы Мари Родзевич (Родзевичуны) (1896), на сербский язык переведен в 1899 г.

она все время мне шептала: «Милый, милый...» Своей щекой я ощущал сильное биение ее пульса. В беспорядке растерзанного гардероба, она растеклась по моим рукам, еще красивее и белее. Тяжелый запах кружил мне голову, ее горячие руки плясали на моих холодных плечах.

Тогда моя рука, зло и неловко, пробежала по ее телу, и разлетелись какие-то пуговики. Она встрепелась, взвизгнула, оттолкнула меня и прошептала испуганно: «Нет, это – нет», суетливо подбирая предметы туалета, порхавшие белым и черным вокруг ее обнаженных коленей. Она ударилась об окно, звякнувшее, мутное и темное. Ее руки испуганно прижимались к груди, и к кружевам, и к растерзанному белому белью. Она улыбнулась слегка и прошептала: «Когда станешь мне мужем». Пальцы ее быстро затягивали и завязывали тесемки и дрожали под пуговками. Отвернулась и начала собирать волосы в пучок: «Я больше не приду...»

\* \* \*

А потом наступил медовый месяц. Я был смешон в военной форме и бледен.

Медовый месяц, медовый месяц.

Руки липкие от раскаленного тела, а лица изможденные, бледные и желтые от наслаждения.



Она была повсюду. Запах ее тела, тяжелый, дурманящий запах, подкарауливал меня в стенах, в дверях, в печах, по столам, в еде и воде, в постели и в моей одежде, только в вине его не было.

Утомленный, я вставал со звоном колоколов и шел в церковь, пустую и холодную. Увидев меня, бледного и печального, она сразу меня обнимала и целовала, и шептала мне: «Милый, милый».

Пробило полночь. Я слышал, как она мне шепчет. Прогоняет зарю. Я почувствовал на себе ее теплое покрывало, с запахом ее грудей. Куда бы я ни протянул руки, пальцы мои терялись в ее грудях. Она стояла на коленях передо мной, на мне, за мной. Ее голос звучал отовсюду. Ее волосы я находил повсюду: в книгах, в еде, и вокруг шеи. Она старалась во всем мне угодить. Целыми днями смотрела, как бы подать мне то, на что упадет мой взгляд. Умоляла меня беречь здоровье. Ее походка была стремительной и плавной, ее красивые ноги сгибались ритмично. Ранним утром, когда я открывал глаза, я видел, как, почти обнаженная, она лежит на моей груди. В первые дни была слезлива и невинна, но вскоре, просто душно хихикая, начала сыпать шутками и остротами. Я с изумлением выслушивал ее откровения. Особенно по утрам она с удовольствием сидела, почти голая, в постели и расспрашивала меня о любовных похождениях. Я с изумлением слушал, как она, хихикая, описывает мне женщин, которых я едва помнил, тихих и приличных. О жене протоиерея рассказывала что-то такое страшное и гадкое, что я в бешенстве крикнул: «Молчи, прошу

тебя». А она, испуганно и обиженно, прикрыла свои голые бедра и сказала: «Что ты удивляешься? А с кем мне об этом говорить, как не со своим мужем?» Так проходили утра.

Больше всего меня возбуждало, когда она, придерживая одной рукой сорочку, ходила по комнате и доедала остатки ужина и сласти, потом быстро подбегала и бросалась ко мне и опять меня целовала. Ее глупенькая головка исследовала все тайны лона; она спрашивала меня о таких странных вещах, что я иной раз, не часто, но хохотал. Усталый, отекавший и слабый, я уходил и возвращался, а она меня ждала и обнимала еще в дверях. Я заметил, что с хихиканьем она стремилась испытать все плотские удовольствия. Дразнила меня, чтобы я ей открыл новое в любви, о чем она где-то читала. Целыми днями рассказывала громкие истории о женщинах из родных мест. Женщины, начинавшие сидеть, у которых по четверо детей, в ее рассказах представляли столь странными и безумными, что я, сам того не желая, заходил от смеха, представив рядом с ними тени их плешивых мужей, сгорбленных учителей, чиновников и священников. Тем вечером мы немного больше выпили за ужином, и она весело рассмеялась: «Что поделаешь, вокруг этого вертится мир».

Я умолк и посмотрел на нее изумленно. Она лежала совсем голая. Ее красивые ноги, вытянутые, вертелись в отблеске печи, как будто танцевали. Я тихо подошел к ней и, улыбаясь, с каким-то смущением, дотолк ее неизвестным, поднял с пола ее сорочку, прикрыл ее и начал рассказывать ей о земледельческих кооперативах.

Так проходили дни и месяцы. Она начала полнеть. И у нас не было детей.

Окно раскрыто. Я вижу в нем, как в мутном зеркале, мою бледную голову и мои окровавленные уста, когда глотаю лед. Далеко за холмами голубеют Карпаты. Говорят, что меня отвезут туда, что меня вылечат. Но мне хорошо здесь. Краков прекрасен. Старинный и туманный.

Она пришла в госпиталь уже на третий день. Да, любовь нас найдет везде. Она была маленькая, тоненькая, как девушка, идущая на свой первый бал. Ужаснулась. Нас было тридцать в палате. На улице светило ласковое осеннее солнце, а у меня на груди лежал пузырь со льдом. И когда она присела на край моей постели, я улыбнулся.

Сижу в подушках и смотрю на тусклые крыши. Это мое занятие. Говорят, от этого зависит жизнь. У врача длинная седая борода, которая будит меня по утрам. У нее был сын, маленький сын. Она не была ветреной, нет. Она сама ничего не умела, но ее тело умело дрожать от страсти. Она делала все, чтобы предстать передо мной образованной женщиной. Читала Ницше, а когда я ее в первый раз вдруг обнял, грубо, она мне сказала: «Вы демон». Был ноябрь.

Дни были странными. По вечерам небо теплое, и все мы оглядывались, чтобы увидеть ласточек. В переулках толпился народ. На деревьях набухали почки, и мы все смеялись над осенью, которая вообразила себя весной.

Она рассказывала мне, как ее выдали замуж, отделились, как от ненужной лошади. Муж ее был адвокатом, крупным, дородным мужчиной. Он где-то на фронте, судья военно-полевого суда. Мы сидели в госпитальном саду. Она шептала мне, стараясь, чтобы я понимал ее мягкую, шелестящую польскую речь. Небо над Краковом в ту пору было нежным, или мне это только казалось, потому что я опять стал молодым и живым. Где-то далеко гибли люди; она приносила газеты и читала мне о тяжелейших боях, в тех лесах, откуда я вернулся.

Она поместила меня в отдельную палату, окна которой смотрели на заиндевшие окна старой церкви. Это было как в детстве. Верхушки деревьев заглядывали в окно, а из кровати я видел кусочек неба. А когда выпал первый снег, мы узнали друг друга лучше. Она часто плакала. И любовь к нам пришла, как что-то убогое и несчастное, и слова наши стали тише. Ее черная головка, со светившемся в темноте затылком, часто склонялась, усталая.

Помню, был день, полный снега. В окнах ветви деревьев все в снегу. Церковная колокольня исчезала и качалась в тумане. Она вошла и бросила мне в лицо перчатки. И, заледеневшая, упала на мою больничную кровать. Она хорошо спала, с тех пор, как узнала меня, она спит хорошо. Теплые сиреневые жилки выются по ее рукам. Я распахнул на ее груди одежду и нашел там медальон, на котором была гравировка, печальная мазурка. Я никогда не видел ее груди. «Они были маленькие и нежные, глубокого сиреневого цвета». Она так сказала. Ее руки были бледными и теплыми. Они творили чудеса, эти

руки, алчные до страсти, в которых была смелость, прекрасная, свободная, чарующая смелость. Они опьяняли, белые, бесстыдные, они делали прекрасным то, что прилично и у невесты. А любовь? Она в сиреневых жилках. В белых, как лебеди, ребрах, и на запястьях, розовых от страсти. Кто тот, у кого еще есть силы, молодость и очарование для любви? Кто тот, кто над теплой вздымающейся женской грудью, орошенной капельками ледяного, безумного, иступленного пота, не потеряет себя?

Помню, было Рождество. На чужбине она, незнакомая, пришла меня утешить, потому что я плакал над виселицами, возводимыми где-то. И она хорошо знала, что делает. Никогда в юной девушке не будет этой прелести. Только несчастье, отчаяние и тоска по утратам доводят до экстаза. За часы, окрашенные алым, и приглушенные вскрики мы отдали душу дьяволу. Любовь – не Бог, не животное, не безумие, она – туман, туман крови, молодости и неба. Заслоняет все, и жизнь прекрасна. Но туман всегда остается тяжелым, полным сладости и боли, и он связан с небом. Она часто плакала. Это не были всхлипы, но страшные крупные слезы, страшно крупные, набегавшие на ее глаза и дрожавшие на ресницах до тех пор, пока не скатывались вниз. И сегодня, стоит мне закрыть глаза, при мыслях о том дне меня охватывает какое-то бессилие. Я чувствую ее рдеющие румянцем щеки, касающиеся моего лба, чувствую ее легкие, такие легкие, словно ласточки, руки, как они обвивают мою шею. Вижу этот невинный рот, такой чистый, без той болезненной, напряженной усмешки любимого, а на ресницах две страшные слезы, и мне потом несколько дней так плохо. В черной

пелерине, в скромном костюме, потому что я, увидев ее гимназическую фотографию, полюбил этот костюм, с юбочкой, всегда немного смятой, причесанная, тихая и напуганная, она всегда будет возникать предо мной, как страдающая тень, туманная, как она смотрит в окно и тихо произносит: «Восемь часов... мне надо идти».

\* \* \*

Однажды меня вывели из госпиталя. Я стоял и смотрел на этот полный снега город. И не было у меня ни одного родного человека, под тяжелыми тенями собора, где я долго думал о студентах и солдатах, которые вот так бродили в тени этих мрачных зданий и бились на отчаянно злых дуэлях, по подпольным трактирам, потом сидели, истекая кровью, обессилив, у старых алхимиков. В госпитале по ночам буянили боснийцы и харкали кровью. По воскресеньям на заутрене пели слабоумные девушки, одетые в белое и в белых толстых шерстяных чулках. Органист был слепой, а первым голосом пела одна монахиня со страшно обезображенным лицом. Дождь, тот жуткий, польский, шел по вечерам, а по коридорам бродили, стуча костылями, тени, харкающие кровью. На стенах висели деревянные распятия, с запрокинутыми головами и узловатыми коленями. Здесь я впервые ощутил неопишуемый страх, здесь я впервые почувствовал сострадание ко всем нам.

Мое окно по-прежнему смотрит на заснеженные крыши. На окне три ее гиацинта. Я рассказывал ей о на-

ших селах, об окне в моем доме, и наутро она принесла мне три гиацинта. У нее маленький сын, и, наверное, она тайком много плакала. Один стоит слева. Он розовый и тихий. Когда я по утрам его поливаю, он такой милый, спокойный. Он у меня увядает. В середине – белый. Каждое утро он напоминает мне бледные лица, которые я целовал, и которые теперь неизвестно где. Он слезливый и пугливый как ягненок. Третий стоит справа. Он алый. О нем я ничего не могу сказать.

Я на чужбине, постель застилаю килимами из Бачки. Наверняка, его соткала какая-то буньевка<sup>1</sup>, честь и хвала ей. Килим веселый и богатый, всегда меня радует в чужих краях; когда я на него смотрю, небо алеет. Я ей не сказал ни слова. Я не ее люблю. Я люблю небо, моя любовь нежна, во сне, и непреходяща. Ее нет в моей жизни. Ее глаза темные и теплые как финики. Ее волосы оливковые, как трава осенью. Или мне это только кажется, так кажется? Эти волосы трогательны, этих волос мне жаль, этой увядшей травы. Я сразу целую эти волосы. Ее голос почти детский, ее платочек надушен, а если бы не был, то пахнул бы чистотой. Ее глаза темны и пурпурны, как кровь, они – моя радость. Она мне много рассказывает о своем сынишке. Мы много говорим о ее сынишке. Ее лоб смешной, такой страдающий, с морщинками, усталый; может быть, от того, что она мать, может быть, от того, что она меня любит. Мне ее жаль, особенно я жалею ее руки, теплые и бледные. Она порядочная, никогда не говорите мне, что она непорядочная. У нее страстные,

1 Буньевцы – субэтническая группа южных славян.

бледные, хрупкие руки, они стыдятся и прячутся. Ее плечи дрожат, как ветки под снегом.

Что с нами будет? Я не знаю, но я и не любопытен. Вернуться домой? Они не любят меня, а я их ненавижу. Может быть, мы счастливы от того, что я ее жалею. Вокруг нас под снегом наливаются соками веточки, а облака, вялые и утомленные, учат нас старой как мир, болезненной иронии, корни которой в огромной любви. Я все ждал, что еще что-то случится в жизни, что все, что до сих пор было, всего лишь комедия. Теперь вижу, что после сострадания не приходит ничего нового.

Я люблю ее. Поздно вечером мы возвращаемся в Краков. Поезд несется сквозь рощицы, сквозь крепостные стены, а мы, спрятавшись в уголке, сонные и бледные, тихо разговариваем о любви и несправедливости. А потом, в тумане, меж старых стен, я ухожу к ней. И вот ее сыночек обнимает меня за шею, а она, преклонив передо мной колени, целует мне руки, дрожа от страсти и задыхаясь от отчаяния. Я буду вспоминать ее бледный облик. Что бы я ни подарил ей, она радостно вскрикивает, но эта радость быстро проходит. Я все жду, что еще случится в моей жизни, но после сострадания не приходит ничего нового. Ее походка дробная и легкая. Когда мы проходим мимо замерзших, заснеженных ветвей, я еще никогда не видел, чтобы она оттолкнула какую-нибудь резко. Нет, всегда мягко, а глаза ее при этом затуманиваются. Попадется ли по дороге увядший лист, пусть и грязный, она



поднимет его и украсит себя им. «О, как я люблю тебя сегодня», – говорит она каждый день.

Моя жизнь завершена вот так, а я и не заметил, где она остановилась, и того, что я называю жизнью, все нет и нет. Небо любит людей, а вода нам журчит под окном всю ночь. Мы загляделись друг на друга. Она мне шепчет, просит увезти ее, унести отсюда, а я смеюсь и говорю, что на чужбине лучше. На улице кричат мальчишки, чрезвычайный выпуск газеты. Все это пройдет. Кто знает, может быть, будут ставить веселые оперетты о том, что сейчас творится. Я больше не знаю, что хорошо, а что плохо, но мне кажется, что и другие этого не знают.

\* \* \*

Я лежу, и мои окна желтого цвета. Напуганный и больной, я вижу, как из темных подвальных окон выглядывает холод. А эта желтая листва, полная снега, идет со мной рядом уже три года и падает мне на грудь, и убивает меня. Я лежу и вижу в окне только деревья. Мы разговариваем. Листва прощается со мной и опадает. Разве любовь всего лишь листва? Я так мало люблю людей, а листва меня так хорошо успокаивает. Моя жизнь зависит от нее. Я утомлен. Я бы уехал куда-нибудь далеко, не оглядываясь. Ушел бы куда-нибудь в желтую листву, бог знает куда; а если бы кто-то заплакал обо мне, я написал бы открытку: «Прощайте, я ухожу, чтобы выздороветь».

Ловлю свое дыхание, я потерял его где-то в листве. Вокруг меня плачут, но не обо мне, а о румянце, которого больше нет на моем лице, о свете, которого больше нет в моих глазах. И опять меня мучают. По ночам меня запирают в тюрьмах, а днем я скитаюсь по госпиталям. Крепостные стены занесены снегом. Целыми днями я не вижу ничего, только крепостные стены в снегу. У нас нет ламп, мы сидим в темноте. А когда меня опять отпускают, все идет по-старому.

Ивы полны снега, спрашивают меня: ты все еще скитаешься? Трамваи полны бедняков и горя. Женщин, побледневших от мороза, стоящих целыми днями в очередях за каплей молока, за кусочком жира, с малыми детьми, посиневшими от холода. Как мне жаль этих людей. У нас хотя бы есть силы, чтобы мучиться, а эти люди слабые. У меня здесь нет никого. Я на чужбине, и проходят тени рядом со мной, черные, темные; они мне никто и ничто. Заснеженные ивы удивлялись мне. В моей душе не было никакой боли, но не было и счастья. Трамваи несутся. Дети иной раз улыбнутся мне, а на стенах мелькают железные вывески лавок. Воды сковало льдом, и они не текут... Дровяные склады и сараи, напоминающие мне о родных местах, засыпаны снегом, сухие и промерзшие.

Я пошел к ней. Она играла с ребенком. Ее сынишка, маленький и красивый, похоже, совсем не растет. «Это из-за моих грехов?» – спрашивает она и горько усмехается. Она меня сразу обнимает. Теперь она красивее. Она теперь полна тьмы. В ней есть теперь что-то болезнен-

ное, что-то, чего прежде не было, что-то, что появляется от застенчивости.

\* \* \*

Мы завидуем тем, кто ранним утром идет на работу. У нас нет работы, и нас нигде не ждут. Меня – госпиталь, ее – ребенок. Мы прячемся. А если кто-то весело пожелает доброго вечера, отвечаем грустно – «Добрый вечер». Я стою с ней в крепостных стенах, над морем домов и больниц, чадающих, грязных. Холмы пахнут слезами. Мне не жаль тысяч и тысяч мерзавцев и прохвостов, и холопов, которые сейчас гибнут. Шумящие сосны смотрят на нас, бледных и синих от ветра и страсти. Мне никого не жаль, и меньше всего самого себя. Мне жаль только ее сынишку маленького.

Театры полны. Когда безногий входит в трамвай, он долго дожидается, пока какая-нибудь старая женщина не встанет. Я вспоминаю нашу докторицу, с красным крестом на груди. Она всегда меня называла «Пуби», и целыми днями рассказывала мне о госпоже Эллен Кей<sup>1</sup>. Вчера вечером ее застали, *in flagranti*, с капралом санитарной службы, за фисгармонией в актовом зале. Весь госпиталь смеется. На днях меня переводят в горы, в Закопане. Она и туда приедет, за мной.

1 Кей, Эллен (1849–1926) – шведская писательница-педагог. Главные труды: «Век ребенка» (1909), «О любви и браке» (1911).

\* \* \*

Тяжело и медленно меня несли по ступенькам. Крупная строгая сестра быстро подошла ко мне и раздевала меня как ребенка. Она мне: «Почему вы не сказали, что вы хорват, было бы лучше». Она меня раздела, обложила пузырями со льдом. Я не произнес ни слова. Закрыв глаза и дрожал. А она села на мою кровать, ее крупный рот скривился и улыбнулся. Она вытерла капли пота с моего лба и завернула еще плотнее. А над моей кроватью висела табличка, под распятием с черными четками, и на ней, как бы в шутку, от веселых друзей, было написано, по-немецки:

Имя: Петр Райич

Воинское звание: пушечное мясо

Вероисповедание: греко-ортод.;

Семейное положение: не женат;

Возраст: 23

Профессия: цареубийца;

Диагноз: туберкулез.

\* \* \*

Я хочу Вам рассказать.

Об одном человеке, которого я не могу забыть и который был мне больше, чем брат. Один единственный человек. Единственный юноша на всем белом свете.

Была первая апрельская ночь, я ее никогда не забуду: вспоминаю, вспоминаю, это мое несчастье и судьба моя. Все время вспоминать о чем-то горьком.

Тогда нас называли чудовищами, потому что мы им не нравились. Мы назывались «усталая молодежь», а Вена нас терпеть не могла.

Помните ли Вы, меня все ненавидели, кроме вас, далматинцев, а я вас всех любил. У нас было маленькое кафе, когда я с Вами познакомился, и каждый день мы здесь собирались, чтобы кутить всю ночь. Ах, Вы помните, какими мы были смешными?

Все мы были очень образованные. И все мы были не выпавшиеся, бледные, взлохмаченные. Мы тихо снимали шляпы и входили, и каждый приветствовал присутствующих по-своему.

И когда из-под шляп вылетали наши длинные черные волосы, слышалось: «народная песня, господа», «прерафаэлизм, господа», «синдикализм, господа», «одолжите мне одну крону, господа». У каждого было свое приветствие. Но мы очень любили друг друга, и мы были ничуть не более безумными, чем другие. По вечерам мы ужинали черным кофе с булочкой.

Люди равнодушно проходили мимо нашей толпы, стоявшей каждый вечер у Оперы. И каждый вечер мы говорили о России. Мы все помногу говорили.

Я помню одного, молчавшего. Помните ли, дорогой мой, его тень на белой занавеске, склоненную над микроскопом под чердаком, на которую мы подолгу смотрели, когда на утренней заре возвращались домой.

Он умер. Говорят, часто голодал.

На родине нас ненавидели, но все-таки не мы были худшими.

Мы были просто смешными и юными, ах, такими юными. Мы хотели спасти мир. Помните, какие мы несли глупости. Но все разговоры заканчивались Россией.

Помните того, кто доказывал, что мы самый музыкальный народ, кто кричал: «Открывай окно, я петь буду», и того, что вечно читал стихи о Вуке Мандушиче<sup>1</sup>? Помните, какие у нас были длинные волосы?

Но то, что нас крепче всего соединяло, это бедность и чахотка, они нам были вернее наших подружек, по большей части горничных. Помните, в нашем кружке и ветеринары говорили только о России и об искусстве.

Лежу и вижу только размытые крыши. Сегодня мне два раза делали фотографический снимок легких, и я настроен философски, дорогой мой. А они почти все мертвы. Лежат, лежат себе в земле, одни на юге, другие на севере, иные на востоке, иные на западе. Почему, дорогой мой? Ах, я хочу рассказать тебе сон, один мой сон, и я

1 Предводитель ускоков (партизан) в Далмации в XVII в. Историческая личность, один из персонажей поэмы П.П.Негоша «Горный венец».

тебя убаюкаю, хотя знаю, что и ты сейчас лежишь где-то и не можешь заснуть. Сегодня мне два раза делали фотографический снимок легких, и потому я сентиментален.

Тогда, однажды вечером, пришел он, я никогда его не забуду. Вскоре он пропал, но все-таки, он был мне больше, чем брат.

Казалось, его длинные и тонкие, как жерди, ноги не ступают по земле, он как будто над ней парил. Он не был в лохмотьях, однако цвет его брюк я так никогда и не угадал. Над ними черный морской китель, на нем одна золотая пуговица – «мое золотое прошлое», – говорил он. Голос у него был невыразительный и мягкий. У него я научился разговаривать искренне. Он подошел к столу и тихо поздоровался: «Полинезия, господа».

Я давно привык ко всем студентам, актрисам и черногорцам, которые дружили с нами. Каких только нас не было. Однако с изумлением обернулся. Я подумал, что это какой-то поэт, потому что мы часто были и поэтами.

Он посмотрел на меня, незнакомого, только на меня посмотрел; а глаза те были светлые, прозрачные, они мне напомнили небо.

Я тихо спросил одного адвоката, сидевшего рядом со мной и все время искавшего связь Душанова «Законника»<sup>1</sup> с какими-то эдиктами: «Кто это?»

1 «Законник Стефана Душана» (1349) – средневековый свод законов Сербии, назван по имени составителя – царя Стефана Душана.

«Какой-то далматинский приживал, пройдоха, не давай ему в долг».

У нас ничто не бывало странным. Его костюм меня удивил. Сам он был изнуренным и бледным. Черная шинель, висевшая на его сутулых плечах, была настолько смешна поверх тех выцветших брюк, как будто на веселую летнюю морскую униформу набросили черную, похоронную поповскую рясу.

В ту пору я рассуждал только о коринфских колоннах и о любви к отчизне. Меня удивило его прекрасное лицо, нежное и белое; на нем не было ни одной морщины, ни одной пьяной тени. Он подал мне руку и произнес: «Вы похожи на меня, может быть, и вы путешествуете?.. Прошу вас, одолжите мне...» Его руки дрожали, все в шрамах и ранах, нечистые, они судорожно сжимались в сетке спутанных, узловатых вен. Но волосы его, разделенные пробором, были мягкими и нежными, как старое золото.

Мне говорили, что он бывший морской офицер, и что у него есть связи с московскими студентами, по ночам он пьян, а днем обучает детей английскому и французскому.

Светало, когда мы вышли на улицу. Оборванцы мели и чистили брусчатку и поливали ее водой. Мы любили эти темные, мокрые улицы. Мы знали, что будущее за улицей. Невыспавшиеся и голодные, мы останавливались и долго говорили о мире, о земледельческих кооперативах и славянстве. Я говорил только о Репине. И эти бесконечные разговоры по кафе, доходившие в толпе длин-



новолосых студентов до диких драк, здесь, на пустых улицах, они текли мягко, и исчезали в мокрых деревьях и черных крышах.

Мы желали доброго утра любому. И только перед восходом Солнца мы входили в уродливые мрачные дома, где селились высоко, высоко.

Той ночью мы долго спорили о Гартвиге<sup>1</sup>, о каком-то немецком броненосце у Агадира<sup>2</sup>, и о какой-то новой престелнице в одном борделе.

О, мы знали, хорошо знали, что мы несчастны, но с отчаянной радостью говорили о славянстве. Больше всего тем утром нападали на него, потому что он не вмешивался в наши ссоры, и стоял испуганный, прислонившись к фонарному столбу, а фонарь гас, и шептал: «Чего вы еще от меня хотите, я был молод, но и это прошло, чего вы еще хотите?»

Все кричали, оскорбляли и били его, спрашивали у него, он платоник или анархист, или нигилист, кем-то же он должен был быть. А он рассказывал про снег, про птицу, клёста, которая зимой вьет гнездо, про снежные облака, а больше всего про небо. Он все что-то бормотал

- 1 Гартвиг, Николай Генрихович (1857–1914). В 1909–1914 гг. русский посланник в Сербии. Скончался 10 июля 1914 г. в Белграде после беседы с посланником Австро-Венгрии. Был исключительно популярен среди славян.
- 2 В июле 1911 г. немецкая канонерская лодка «Пантера» прибыла в гавань Агадира (Марокко), что стало началом так наз. Второго марокканского кризиса в отношениях Германии и Франции.

неразборчиво о небе. Я думал, что и он пьян, потому что все остальные были пьяны. Тогда его прижали к какой-то стеклянной витрине и начали наносить ему удары, а он развел руки в стороны и сказал: «Я суматраист». Помню, это было на заре, небо было темно-зеленым, и была первая апрельская ночь. Потом он сцепился с каким-то жандармом; я его увел, потому что забияка он был изрядный, когда выпьет.

Квартировал он поблизости, и я его проводил. Мы поднялись по лестнице, и я задрожал от холода. Он меня все время обнимал и просил, чтобы я его выслушал; рассказывал что-то о корабле "*Kaiserin Elisabeth*" в гавани Салоник, и о какой-то пощечине, которую он получил от адмирала, и каком-то дворе в Которской крепости, где его разжаловали и собирались расстрелять.

Но у меня болела голова, и все это было так странно, и я весь трясся от холода. Я едва его слышал.

Но все-таки, дорогой мой, как было страшно то, что он рассказывал о своей матери. Она все время мыла и драила полы. Дед, отец, братья, все напивались; было страшно слушать, что в семье только эта женщина работает, драит полы и спасает их, и будит их, похмельных, на заре. Она выплачивала долги, она его выучила, отец его был писарем. Когда он рассказывал о ее седых волосах, мне показалось, что мне снится сон, так она была похожа на мою мать. Ах, я никогда не смогу забыть ту женщину. Она никогда не была влюблена, ее никто никогда не ласкал, ее били, ее соблазняли, пьяные

и буйные, а она все время драила полы. Его отец был гулякой, как и мой.

– Дорогой мой, а вы слышали о моем отце?.. Назовите его имя в сремских монастырях, его знают повсюду, спросите просто про торговца дровами Эгона Чарноевича, про того, что и зимой и летом носил белую шляпу. Он редко приезжал домой, торговал лошадьми в Валахии, и говорил, что у женщин там особый «вкус». Он редко бывал дома, любил чужбину, как и я.

Его мать целыми днями драила полы, а его учила в Риеке. На левом бедре у него был красивый кортик, с белой костяной рукояткой, и он был лучшим в классе. Пятьдесят лет она драила полы и умерла. Он тогда был на корабле, у Мальты. И ничего не случилось, корабль не утонул, и его даже не отпустили домой. Он все время шептал и рассказывал, а я только хотел заснуть.

Сначала он рассказывал о небе над Царьградом, затянутом желтым туманом. Потом мы лежали на палубе какого-то парусного судна на рейде Гонконга. На небе было только одно облако, оно было лиловым, но прозрачным, оно словно висело прямо над гаванью, и сквозь него сияла изумрудная утренняя звезда.

До самой его квартиры он мне как-то несвязно рассказывал о небе; он все время шептал мне о небе, он научился различать цвет неба в любой день, за те годы, что провел в море, скитаясь по миру. Я все время пытался заставить его замолчать, но он опять начинал, мягко шепча.

Всю ту ночь я вспоминаю, как сквозь сон, хотя мне это больно, но уже не так больно, дорогой мой. Однако тот человек стал мне больше, чем братом, вот так, словно во сне.

В его маленькой комнатушке не было ничего, кроме старой мебели и картин на стенах.

Это были картины неба и облаков.

У него были картинки неба со всего мира, а он шел за мной, все время нашептывая: «Ах, если бы их видели в цвете, ах, если бы их видели в цвете». Помню, как он стер надпись с уродливой черной доски, которая словно из земли возникла передо мной, но я быстро прочитал: «Let's learn English» и шептал дальше: «Это на Цейлоне, это на Самосе...», – так мне помнится. Я упал на постель, но он сел рядом со мной, держал меня за руку, запинаясь и продолжал говорить. Утверждал, что он не пьян, и просил одолжить ему денег. И поцеловал меня. Говорил, чтобы я не пугался его одежды, погладил ту последнюю пуговицу и сказал: «Мое золотое прошлое». Поцеловал меня опять и начал с воодушевлением рассказывать.

Я пытался уснуть, но не получалось, он мне все время шептал, а я все время, как в каком-то зеркале, видел над своей головой свое же лицо. Это была странная ночь. Вдруг он мне показался давно знакомым, и мы долго говорили о будущем Сербии, о народном костюме и о коринфских колоннах. Он все время начинал о небе.

Он просил и умолял меня выслушать его. Все время говорил о небе. Спокойно сидел на палубе, или ходил туда и обратно, останавливался и смотрел на море и небо. Он размышлял о юности, а рассказывал мне путанно, как моя жизнь. Море здесь было какого-то зеленого цвета, словно весенняя трава; он долго шептал об этом цвете. Потом он говорил о каких-то алых полосах на небе и доказывал мне, что они указывали ему путь, и что он плакал от радости, глядя на них, а ведь никогда раньше не плакал. Все это было так странно, наверное, я заснул, но, проснувшись, увидел, как он стоит передо мной со свечой в руке и шепчет, освещая мое лицо: «Небо, небо».

Потом он опять рассказывал мне о матери. Рассказывал, как, вспоминая о ней в далеких городах, вставал и уступал место старухам, чтобы те сели, потом мы опять были на каком-то корабле близ Каира.

На заре он сидел верхом на корабельном орудии, или прохаживался, держа вахту, и все время учился, учился. Учился по моим книгам, и я мучился, вспоминая, откуда они у него.

Я помню, мы стояли в Каире. Одна очень богатая американка и ее спутники посетили корабль, а его назначили ей в сопровождающие, потому что он прекрасно умел беседовать с дамами, а еще лучше танцевал. Однажды он, веселый и юный, одетый в белое, с золотым кортиком на левом бедре, шел по городу, полном прекрасных женщин, нарядных, белых женщин, и феллахов, и ослов. Однажды вечером, внезапно, он встретился с ней, и они

долго и страстно танцевали. Он говорил ей забавные и смешные вещи.

Все, что они делали, говорил он, где-то далеко, на одном острове, оставляло свой след. А когда он сказал, что сейчас от ее страстной улыбки обретает силу, чтобы раскрыться, и расцветает красный цветок на острове Цейлон, она засмотрелась вдаль.

Она не верила, что все наши поступки оказывают воздействие на таком расстоянии, и что наша сила так безгранична. А он верил только в это.

Под пальмами, в гостиной отеля, он говорил ей, что не верит в то, что можно убить себя, или как можно сделать кого-то несчастным; он не верил в будущее; он сказал, что его телесные наслаждения зависят от цвета неба, что его жизнь напрасна, ах, нет, не напрасна, но ради улыбки, которой он улыбается растениям и облакам. Он сказал, что его поступки зависят от какого-то алого дерева, которое он видел на острове Хиос.

Она смеялась, он был забавный и такой юный.

И после всех этих танцев и разговоров на камне, у подножия страшного сфинкса, на экскурсии, он целовал эту женщину, которую еще неделю назад даже не знал. Он целовал ее дико и страстно, это ее взволновало. На теплом песке, красном песке, она долго рассматривала следы своих маленьких ног и застенчиво спросила, сколько ему лет.

А он беззаботно обнял ее так крепко, что она вскрикнула от боли. Они сели на своих ослов; она еще раз взглянула на следы своих маленьких ног на раскаленном песке, красном песке, покраснела и сказала, немного аффектированно, что он похож на лорда Байрона и что он: «Mad, bad, and dangerous to know». В тот же вечер он поверг ее в изумление, испугал и обнял против ее желания, не смутившись ее приглушенным вскриком, у открытого окна, где под пальмами сидел ее секретарь, и, покачиваясь, читал. Он был девственником, и ее это так удивило и развеселило, что она стояла перед ним на коленях и бормотала тысячи ласковых слов, дыша прерывисто, бледная и томная, сильная, тяжелая, прекрасная.

Тогда опять появилась какая-то странная боль и тоска в его рассказе, и, едва слышно шепча, я чувствовал только, как он обнимает мою голову и холодит лоб. А вся эта юность, эти речи довели меня до слез, сам не знаю, почему. И тогда в его рассказе опять что-то запуталось, он ее больше не видел, хотя от нее приходили письма, надушенные и со следами слез.

Он читал об успехах мадам Кюри и начал запираяться в своей каюте, и перекатывать какие-то желтые глиняные посудины, и делать какие-то расчеты. Напрасно товарищи просили его выйти на палубу, он сидел, сторбившись, как будто был братом, мужем или любимым той незнакомой женщины, и, глядя целыми ночами на пламя, нагревал и сжигал голубые порошки. Писал какие-то письма и не получал на них ответа. Товарищи думали, что он сошел

с ума. Врач за ним тайно наблюдал, а он на все это мягко улыбался, говорил, что это все странно лишь потому, что они никогда не заглядывались на утреннее небо. Американский консул взошел на палубу лично, с надушенным отчаянным письмом. Но его ответы были неласковыми и смешными.

Он сказал, что мы не хозяева ни своим мыслям, ни своим делам, что он обязан одной старой женщине, которая похоронена где-то на далматинском острове, и что он никого больше на свете не любит. Его смех был злым и хриплым, а глаза его горели как уголья. Я слышал только, как он смеется, и этот смех пронзал мой сон. Он сказал американскому консулу, что все, что Америка делает, напрасно, что будущее народа не зависит от уродливых турбин, ни от труда, а зависит от берегов какого-то синего цвета, от какого-то далекого острова. В бешенстве он обрушился на тресты и сказал что-то смешное против человечества, сказал, что его улыбка, посланная вот так, через море, в состоянии больше помочь нью-йоркской бедноте, чем пять миллионов, и все больницы, которые та дама, — с толстыми, между прочим, щиколотками, а ему это не нравится, — строит на свои украденные деньги.

Разразился страшный скандал. Его поместили в больницу, но быстро отпустили.

Его мягкие ответы и его странные глаза убедили врачей, что он не сумасшедший, но болен. Он слышал, что его крейсер в Сингапуре, и поехал туда.



Он побывал на каких-то островах, где пестрых птиц мог коснуться рукой. Вокруг острова везде было небо. А магараджи в белых тюрбанах знали больше, чем все европейские библиотеки. В Бомбее он познакомился с Шеклтоном<sup>1</sup>, и в бешенстве с ним расстался; и никто не хотел с ним соглашаться, что славянская культура превосходит германскую.

Где бы он ни оказывался, все сбивались с пути. Его глаза, полные какого-то отчаянного гнева, смеялись над солдатами, иностранцами, женщинами, над всеми.

Он все время повторял, что его мысли зависят от одной могилы, на одном далеком острове, и, когда это никого не трогало, он страшно напивался.

Часами, закутавшись в плащ, в сумерках, он стоял и смотрел на море и небо. Он догнал свой корабль, и его приняли с радостью. Опять проходили ночи на мокрой, отдраенной палубе; он ходил туда и ходил, и ему казалось, что этот пол мыла и драила его мать.

Он начал спускаться в душные матросские кубрики, и, сидя по ночам с ними, пел веселые сремские песни. Его товарищи стали его ненавидеть. За обедом его спрашивали, кому это он улыбается вдалеке? Дразнили его «радиограммой». Но все это он сносил и охотно нес вахту вместо них. Он сидел наверху, на орудин, засмотревшись

1 Шеклтон, Эрнест Генри (1874–1922) – англо-ирландский исследователь Антарктики. Участник четырех экспедиций, три из которых возглавлял.

на небо и воду. Издалека, от той женщины, все время приходили письма, но он в разлуке не был ей верен, или с тоской называл ее именем портовых шлюх, черных, желтых и белых.

Тогда, с горькой улыбкой, он признавался, что несчастлив. Все, что было вокруг него, он презирал; все это было напрасно и смешно, а отчаянную радость в нем пробуждало то, что было далеко. И был он спокойным и милым.

На своем орудии, на палубе, звездными ночами, на синем море, когда он не видел ничего, кроме неба и воды, он был властелином мира. Его заботило все. В Мексике полыхало восстание, в России разоблачили готовящееся покушение на царя, в Чикаго рабочие возвели баррикады. Все это его заботило, и он рассылал по эфиру, засмотревшись на небо, свою улыбку. И все исполнялось по велению его сердца. Казалось, что все на свете зависит от его улыбки, как и он был связан, а это и раньше ему было известно, с алыми заморскими цветами. В одном порту он увидел дом, какой давно хотел.

Он не знал, что хорошо, а что плохо, и все измерял багрянцем неба, его утешением. Так, издалека, он обладал сильной властью над событиями в мире, над любимой своей и над родиной своей, над всем, что ему было мило и дорого. Так, пребывая в неподвижности, с туманной, мягкой улыбкой и мыслями о далеких островах.

Он заметил, что иное дерево вдалеке зависит от его здоровья; победы и битвы, где-то, далеко за морем, от его улыбки.

И сквозь сон я чувствовал опять, как он держит меня за руку и укрывает чем-то.

Мы находились перед каким-то белым домом, какого-то богача, купца из Амстердама, на Суматре. Товарищи ненавидели его и спорили с ним из-за эссе Феерхерена о Рембрандте.

Он бодро поднимался по ступеням в дом, белый, прохладный. На пороге стояла девушка, но он вспомнил кого-то и хотел пройти мимо нее. Ее звали Гелла, ей сравнялось тринадцать лет, и она спросила его что-то о Венском университете и о Мештровиче<sup>1</sup>. Он мучительно вспоминал, где мог видеть ее глаза, и вспомнил: у нее были глаза его матери. В голове он чувствовал страшную боль. Вспомнил, что близ Борнео была голубая вода, на заре, до восхода Солнца, под скалами. Этот цвет лишал его сознания.

Они отправились охотиться на серну. Девушке сравнялось тринадцать лет. Он каждый вечер тайно спрыгивал с корабля в море и выкрикивал какие-то прекрасные, медовые греческие слова и плыл до роши, где она его ждала. Часто, когда она встречала его объятием в лунном свете, он замечал алое дерево и прижимался к нему, и пылко его целовал, и говорил ему ласковые слова. А она отходила в сторону и плакала.

Послышался пушечный залп. Бушевал шторм, а он, отчаянно рыдая, со слезами на глазах от страха, боролся

1 Мештрович, Иван (1883–1962) – выдающийся хорватский скульптор и архитектор. В 1901–1905 гг. учился в венской Академии художеств.

с волнами. Он слышал, как она зовет его по имени, и видел ее, вдалеке, как она в темноте машет ему факелом.

Была ночь, он разжег костер, а вокруг огня испуганно рычали и завывали страшные звери. Она целовала его, дрожа.

На заре, вспоминал он и теперь, на дне небосклона было несколько звезд, маленьких, совсем бледных.

Адмирал дрался на дуэли с ее отцом, а слуги выкинули его с террасы, и он летел кубарем.

Ранним вечером корабль отплыл дальше.

Он опять жил на небе, жил в воде, на сушу не сходил, ее не вспоминал.

Где только они ни побывали. Он не хотел в Полинезию.

Нет, он больше не знал, что хорошо, а что плохо, и не знал, почему столько говорят о жизни, и не вмешивался в споры, и больше ни во что не верил, а верил только в лазурные берега Суматры.

Он чувствовал, что его жизнь — только ради одного алого растения, на Суматре. И спокойно улыбался. Он был влюблен; и если жизнь не могла его спасти, что могло его удержать? Каждый вечер, сидя верхом на корабельной пушке, он писал письма, на которые не получал

ответа; писал русским студентам, в Москву, и сам удивлялся, почему именно им?

В портах приходили маленькие мальчики, кто знает, чьи, и они охотно играли с ним.

И он увидел, что дети везде одинаковы.

Помнится, в Сиднее к нему каждый день приходил один малыш, очень похожий на него, и он учил его читать и писать.

Тогда он запил, и у него начались неприятности на службе.

Только по ночам было ему хорошо, на палубе, отмытой и отдраенной, когда он засматривался на небо, улыбаясь деревьям, белым и далеким.

Как он смеялся над товарищами, которые начали носить фески, и над кораблями, проходившими мимо, выкрашенными в желтый и черный. Как он смеялся над державами и знаменами, и пушками, направленными на них на всех, и над военными оркестрами, которые невесть откуда были слышны. Как он смеялся над толпой, что кружилась, шутила и танцевала, и над теми, кого хоронили замотанными в белые окровавленные саваны.

Его радости и печали были далеко. Он писал много писем, и ему казалось, что этими письмами и улыбками деревьям, и травам, и облакам, делает больше добра, чем,

если бы стал ей отцом и мужем. Но все еще надеялся. Тогда, в какой-то из дней, он узнал, что у него есть сын. С того дня все стало мрачным. Каждая пропотевшая спина в порту, нагруженная камнем, каждая бледная женщина, просившая милостыню, приводила его в гневное отчаяние и вызывала чувство стыда. Он узнал, что у него есть сын, и с того дня все на свете стало таким мрачным.

Он сделал попытку его увидеть, но не смог их найти. Он все больше любил воду, краски и деревья, и все меньше — людей и живые существа. И все чаще мягко улыбался багряному небу.

Он вспоминал, как однажды на заре они покидали Тенерифе, и он плакал от разлуки с алым тополем на холме. Это дерево, казалось, принадлежало ему больше, чем его сын.

Он начал делать глупости на службе. Они узнали о балканской войне и часто с ним ссорились из-за шуток, от которых он не мог удержаться. Он смеялся над Австрией. Тогда же пропали какие-то деньги; адмирал был очень похож на покойного дядю по отцу; и он был маленький, не больше трех футов ростом.

Подозревали, но не посмели его обвинить. Они стояли в Салониках, и у них были секретные приказы.

Тогда, за обедом, он сказал что-то смешное о порядочности, когда речь зашла о той краже. Кажется, он сказал, что, если кто-то порядочен, может быть, это ока-

зывает влияние, через эфир, даже на Полинезию. Адмирал кричал на него. А он сказал, что династии и народы не имеют порядочности. Тогда адмирал набросился на него и начал душить.

Он почувствовал, что от этого стал слабым, болезненным; и начал быстро куда-то падать. Потом, вдруг, сидел и играл в карты в какой-то комнатке, полной зеркал. Какая-то красивая женщина подошла к нему и спросила, танцует ли он. Он поклонился и сказал: «Я дам вам один добрый совет. Красивым женщинам нет нужды танцевать». Один черногорский принц разбрасывал рядом с ним деньги и играл на рояле. В дверях показался Шаляпин, на кляче, криво сидя в седле, с уродливой палкой в руке и с дырявой кастрюлей на голове, и стены дрожали от его песни.

А он стоял у окна и смотрел на небо.

Рядом с ним все плакали и пели, но ему ничего не было жаль. Он смотрел и видел какой-то темный перелесок, все время мучительно пытался вспомнить, где он. Он почувствовал, что умрет, и начал куда-то стремительно падать.

Он утешался тем, что вместо него будут жить алые ели, с множеством прекрасных какаду на ветвях, на острове далеко. А когда улыбнулся, то вспомнил, что сейчас кто-то плачет о нем, далеко-далеко. Он обернулся к тем, что сидели вокруг стола, на котором крутился волчок и золотые монеты, и начал кричать, воздевая руки:

«Господа, улыбайтесь! Может быть, на Суматре это кто-то почувствует». Потом он начал что-то говорить о каких-то коринфских колоннах, и почувствовал, что умирает. Он упал, и все собрались вокруг него. Да, он что-то говорил в бреду о тополях, о коралловых травах, что живут вместо него; один старый священник в черном морском кителе подошел к нему и спросил, не католик ли он, а тот ему ответил: «Я суматраист».

Священник схватил его за шею, он хотел крикнуть...

И я видел сестру милосердия, как она держит лампу и поднимает меня. Я дрожал и стучал зубами в лихорадке. Я почувствовал, что мне снились галицийские леса, и казалось, что в ушах еще стучат пулеметные очереди.

Я проснулся и огляделся, дорогой мой. Была полночь. На столе стояли белые розы, принесенные мне одной женщиной, чужой женой. Сестра дала мне бром, погладила по щеке и сказала: «Вы беспокойно спите, и плачете, и кричите, наверное, вы опять долго читали эти ваши безумные книги. Завтра скажу доктору. Разве вы не видите, как вы высохли? Боже мой, я не так представляла себе сербов».

Что я мог поделать, дорогой мой? Отвернулся к стене. Она пристроила у меня на груди кубики льда. Я хотел спать, но мой проклятый мозг все время вспоминал. Я хотел уснуть, но мне все время кто-то на ухо нашептывал



микеланджелову «Ночь». Комедия, дорогой мой. Жаль только, что от этого умирают. Вот так, видишь, проходят мои ночи, в лихорадке и снах, дорогой мой, в снах, которые не намного безумнее яви.

\* \* \*

Ночи ледяные и звездные. Окна оставляют открытыми. Говорят, лед и звезды вылечат мои легкие. Заледеневшие ели прижимаются к моей груди, они стоят под моим окном, они мне сказали, что лучше быть елью, а не человеком. По вечерам я читаю Тибулла и вспоминаю одну из моих теток, похороненную на беспечальном, ароматном сплитском кладбище, и сплитского сфинкса, на котором я сидел верхом. Я тогда был весел и юн, и говорил, взобравшись на сфинкса, весело, сам себе: «Танцуйте, ночь уже вошла на колесницу, за колесницей весело несутся звезды, а за ними приходит сон, на паре гнедых, и с ним мрачные видения».

Я лежу и смотрю на ледяные вершины, как они сверкают в багровом лунном свете. Вдалеке гремят орудия. Я держу в руках платочек чужой жены, благоговейно и задумчиво, я, тот, кто никогда так не держал платочек своей. И пока врач часами мне рассказывает о причинах войны, я предчувствую, что умру сентиментально, как артист. Не зная, что меня родила мать, и оказавшись неспособным никому сделать добро, и менее всего себе. Если бы я мог, то вернулся бы туда, где грохочут орудия, и, пройдя русских насквозь, ушел бы далеко, куда-нибудь

на Новую Землю, туда, где лед зеленый, вода подо льдом голубая, а снег алый. Там бы я, пораженный многоцветьем, засмотрелся и забыл все.

Живется, как придется, лежу целыми днями. Небо входит по ночам в открытые окна, а холод проникает в меня и засыпает. Все заснеженные ели приникли к моей груди, лечили ее и шептали мне, и учили меня любить мать нашу землю. На заре я просыпался, и, укрытый, вот так, до ушей, наблюдал, как кровь Солнца разливается по лесам. Орлы пролетали над скалами, а где-то в глубине гремели пулеметы каких-то польских резервных полков, что упражнялись по деревням. Весь день мы лежали в снегу. Только поесть мы собирались вместе, стучали зубами от холода и давились молоком и рисовым пудингом. Одна красивая, очень красивая монахиня будила меня, сидела на моей кровати и много болтала. Знаю, однажды я над ней дерзко подшутил. Я хотел ее обнять, она вскрикнула и убежала. Но я заметил, что с того дня она стала ухаживать за мной лучше.

Я парил над лесами. У меня за спиной падали еловые шишки, а я где-то присел на камень и слушал, как на меня падает снег. И я слышал, как они шагают, голодные, оступаясь, по албанским горам и засадам; как переселяются, опять переселяются. Я слышал, как они падают и выпускают дух рядом с трупами лошадей, и я слышал, как рядом со мной читают, что хорватские части перешли границу. А один мой друг учреждает адриатические бан-

ки и пишет, что все это забудется. Да, забудется, и пьяные спляшут коло на пепелищах. Мой давний друг, в Темишваре<sup>1</sup>, прыгнул с четвертого этажа и погиб из-за всего этого. О, если бы все мы, на чужбине, начали прыгать с четвертого этажа, насмешили бы весь белый свет.

Серны напуганы и убегают, когда видят наш след. Она меня, разумеется, обожает. Как это смешно. Я люблю тех, опасных, а все хорошие плачут обо мне. Меня больше ничто не удивляет. Я просыпаюсь на заре и читаю Данте.

Когда опускается ночь, она приходит ко мне. Иногда мне кажется, что я безумен, но чаще – что безумны другие. Я делаю все то же, что и другие. Меня родила женщина, я познал любовь и восторг. Я знаю органическую химию, я даже знаю, что есть бессмертные идеи. Я брат любому, а нас миллионы. Мне наскучили шелка любви и все эти душевные глубины. Я побываю на войне, опять, и вихрь, и ужасы, и дожди, те страшные дожди. Там, где мужчины, хочу хотя бы быть среди мужчин, мне противны все эти разъяренные мадонны.

Потом, однажды в послеполуденные часы случилось чудо. Снег начал таять, и какие-то малые птицы прилетали из лесу и садились нам на руки, вспархивая испуганно, если кто-то начинал кашлять. Грозный грохот лавин будил нас по ночам. Тогда и деревья начинали шелестеть тихо, медленно; ручей где-то в глубине звучал голосом

1 Темишоара (Темишвар) – город в Румынии, центр исторической области Банат.

новым, ласковым, причиняющим боль. С деревьев облетала последняя желтая листва, давно увядшая, но еще не развеянная ветрами. Орлы исчезли, а небо приобрело приглушенное и глубокое сияние.

Снег такой странный. Он не тает, не умирает, как все другое, он смеется. Он танцует, он напевает. Появляется внезапно там, где его уже никто не ждал. Птичек он любит, кое-где открывает им немного земли, и они здесь поклевывают, с каким-то милым беспокойством смотрят на землю, где зернышек нет; потом подпрыгивают раз другой и улетают обиженно.

Есть одна скамья, одна хорошая скамья, там, над пропастью, вся выдвинутая наружу, в воздух, в небо. Здесь бы я сидел. Я утратил связь и смысл человеческих поступков и воспоминаний. Все это смешалось во мне. Кто знает, что есть жизнь?

\* \* \*

И зима – оборванка. В тряпье и печальных лохмотьях шлейфом лежали на скалах небо и снег. А звезды потемнели, и ночи не были уже такими звонкими, стихли, и наполнены очарованием плача. Я много раз опускал руки. Во мне была какая-то усталость, усталость, у которой не было ни причины, ни повелителя. Много раз голова моя в изнеможении склонялась, и подступали горькие слова, которые я шептал просто так, ветру.

Люди кашляли все сильнее, и однажды рядом со мной на лестнице упал огромный чех, кровь шла горлом. Я посмотрел на него с ужасом. Спустя три дня он умер. А весна приближалась. Белки из леса забегали даже в наши комнаты.

Грех? Жизнь? Кто знает, что это. В Приморье теперь весна. В такие дни я впервые целовался. Я был тогда весел и юн. Помню, помню, тогда моя мать первый раз тяжело заболела. Она начала сидеть. Но старалась быть веселой и надменно смотрела на чахлые гостиничные пальмы. А когда она заснула, я долго рассматривал алые верхушки деревьев, и как опускались сумерки на далекие белые дома на островах.

Жизнь, грех, порядок, законы, границы, все это такие туманные для меня понятия. Я в этом не виноват. И, такой, какой есть, я знаю, что умру с усталой, но светлой улыбкой, хотя мне непонятно все, что я сделал и пережил. Как только ей стало лучше, я стал теряться в серебристой ночи, на лодках, черных и легких, не спрашивая, куда они плывут. Я приходил в себя, только когда они причаливали к какому-нибудь песчаному пляжу, и изумлялся, откуда я здесь? Но все-таки и здесь было хорошо. Я выпрыгнул из лодки, хотя и не знал, где я. Мимо шли бедные изможденные женщины и нагруженные ослы. Я купил красные опанки и обедал где-то высоко, в белом доме, пропахшем оливковым маслом и солью. А когда из прозрачной коралловой воды зазвонили далекие колокола, я пошел дальше. Я сидел с какими-то людьми в больших красных шляпах, а потом, утомившись, в маленьком кафе

наелся мороженого. Лодки под белыми парусами летели по морю, а я наблюдал из уголка и молчал. Под вечер пришвартовался какой-то тарыхтящий моторный катер, и женщины в широких суконных юбках, и пьяные парни с кадками в огромных руках и пустыми бочками начали падать и запрыгивать на него.

«Куда?» – спросил я.

«В Понте», – ответили мне.

Я не знал, это село или город, но – айда и я. На домах трепетало белое белье и желало мне счастливого пути, а когда мы вышли в море, девушки протяжно запели. Пели они, пел и я. – Как вас зовут? – спросил я одну. – Мария. – А вас? – Изабелла. Пела вся лодка, пел и я. Испуганно и пылко я смотрел на них. Мария была красивее, черноволосая, высокая: глядя на нее, я вспомнил о своем нежном, сутулом торсе и застеснялся. Она спрашивала меня о развлечениях, и как в городе одеваются женщины. Им было смешно, потому что я не снимал белых перчаток. Вокруг смеялись скалы в прозрачной воде, зябкой и тихой, тише пустых камней. Я им пел севдалинки<sup>1</sup>, а они, желая меня отблагодарить, спели мне настоящую сербскую песню «Чья это там звезда?» Потом мы спорили, рассуждали о браке и францисканцах; они угощали меня вяленой рыбой и золотистым вином, золотистым, как окрестные скалы, таким же желтым и горячим. Мы пристали к берегу у скал и закричали. Одни хотели плыть дальше, а другие идти пешком. Я спрятался за черноволосой, высокой Марией, и мы пошли по обожженному

1    Старинный боснийский городской романс.

холму, через кустарник, мимо маленьких часовен и раскрашенных статуй Богоматери у обочины дороги.

Шли долго, долго. Изабеллу в Понте выдали замуж, но ее муж был где-то в Аргентине. Она торговала табаком и охотно говорила о романах. Весело смеялась, когда поняла, что я потерялся, и что я смогу вернуться туда, откуда приплыл, только на следующей неделе. Предлагала переночевать в их доме и громко смеялась. Все это было так странно, а небо таким багряным. Мы дошли до какой-то рощицы и обнаружили там уединенный монастырь. Наш смех стал мягким, они начали расспрашивать меня о больной матери. Вокруг нас было тихо. В звонких раскаленных ступенях под нашими ногами отражался полдень. Никого нигде не было, за кустарником шумело Адриатическое море, синее и сверкающее, как горный ручей. Церковь была нараспашку, прохладна. Они опустились на колени и долго молились. Монахи-францисканцы проходили рядом с нами, мы опустили деньги в ящичек на дверях, для бедных, и присели, сонные и утомленные морем. Мария вся выпачкалась черным виноградом. Усталый, я с таким удовольствием остался бы тут лежать, за скамьями, пахнувшими ладаном и едва слышно отражавшими звук милых, старых славянских слов.

Мы наелись винограду, а потом опять сели в лодку. Богоматерь смотрела нам вслед, а я вздрогнул и сказал громко: «Мария». Она обернулась и сказала: «Shimmia»<sup>1</sup>. На том берегу ждал городок с домами, которые налезали один на другой, как игрушки. Я все время смотрел на Марию, пока она гребла. Я сел поближе к ней и хотел ей

1 Обезьяна (ит., искаж.).

помочь, но она отказалась, и тихо, с презрением повторила: «Shimmia». Изабелла весело смеялась и объясняла, что это обезьяна. «Обезьяна», — произнес и я. Я заметил, что Изабелла ласково и страстно на меня смотрит, но я отвернулся к Марии и произнес два-три раза, все тише и тише, ее имя. Кто-то со мной поздоровался с берега: «Adio, Пьер». А я весело крикнул: «Добрый вечер». А почему бы и нет, я был другом всем на свете. Изабелла лежала на мокром канате и все время смеялась. Она прислонялась к моему плечу, и я невольно ощущал лицом ее горячий нос и прижимавшиеся щеки. Младшая сестра гребла медленно, видела все, вздыхала в сумраке, а я вздрагивал и озирался, смотрел на коралловое море и изумлялся, как я сюда попал и откуда взялись эти сестры. Скалы отбрасывали на нас тени, с высоты, из темноты на нас смотрел лиловый фонарь с какой-то мачты.

Мы пристали к берегу, и вода едва слышно плеснула о камень, как знак чьего-то незнакомого берега. Вокруг нас слышался смех и гвалт. Мы ползли куда-то и остановились перед высоким домом, полном камня, белья и сетей. Изабелла, все время тайком сжимая мне руку, повела меня куда-то вверх, по каким-то ступеням, сильно скрипевшим, и оставила меня в темноте. Темнота была лиловой и светлой, как черный шелк, я нигде еще не видел такой нежной, мягкой и мрачной темноты. Я не знал, где я; я видел очень пышные, высокие, пестрые постели и Марию, молча стоявшую у стола. Она меня спросила, поеду ли я с ними завтра на Крк<sup>1</sup>, там будут танцы. Изабелла принесла какую-то еду и накрыла стол. Она ходила вокруг

1    Остров на адриатическом побережье Хорватии, в Кварнерском заливе.



меня смешно и печально, и мягко предлагала мне поесть. Быстро постелила постель и прошептала, что разбудит на заре. Оставила меня одного, а я не мог промолвить ни слова. В открытом окне улыбалось небо, и море, снизу все время слышалось, как будто кто-то кого-то звал. Мне казалось, что под окном кричат. Подойдя же к окну, я понял, что это кричат на другом берегу, на острове. Вокруг меня были раскаленные тени, и я молча стоял у окна. Но узкие проулки мне казались давно знакомыми. Белые пейзажи были такими трогательными, как нигде до сих пор, приятнее и мягче, чем в родном краю.

Мне слышалось, или на самом деле закричали ступеньки. В дверях показалась Изабелла со свечой в руке. Она смотрела на меня бессильно и с мукой. Спросила, неприятно ли мне оттого, что я заблудился, и села за стол поближе ко мне. Окрыленный, я предчувствовал разврат и что я потерян. Боялся, что она заметит, как я неопытен с женщинами. Она рассказывала мне о своем замужестве, о муже, с мучительной скукой и горечью в голосе. Голову устало подпирала левой рукой. На фоне черного платья голова ее белела, а на Солнце она показалась мне простой и смуглой, отлитой в одной мягкой, тонкой линии, которая и привлекла меня в ней. Она с удивлением смотрела на меня и отворачивалась. Не вырывалась, не защищалась, но просила, чтобы я оставил ее, и ревновала меня к богатым городским дамам. «Он уехал в прошлом году», – сказала она тихо, и все время говорила о бедности. Утомленная и горячая, как те камни в воде, на дне, которых я касался рукой, отдалась мне, не имея сил устоять на ногах. Руки ее повисли, и она упала в мои объятия, тяжелая. Вдруг вздохнула, выпрямилась и начала снимать платье. Вот

она уже в сорочке, в темноте. «Ложитесь», – сказала мне тихо. Я хотел подойти к ней, растерянный, а она начала молиться Богу. Я преисполнился страха и тоски, и мне было противно.

Она подошла ко мне и села на мою постель. Ее голова теперь в лунном свете превратилась в одну-единственную мягкую, тонкую линию, полную слез. Ее сорочка была тонкой, пепельно-серой. Я хотел ее обнять, но она прижала мои руки к кровати, ее глаза вонзились в мои, она тихо спросила мою фамилию и стала смотреть куда-то на темную стену. Потом опять повернула голову, едва слышно прошептала: «Мы когда-нибудь еще увидимся... или больше никогда?» Из ее глаз, которых я не мог видеть, две слезы упали на мои щеки. Мне это было мучительно, я хотел подняться, но она переломила меня своим телом, твердым как камни, что лежали в воде, по которой мы приплыли.

Я проснулся на восходе Солнца. Я видел ее, полуобнаженную, рядом с собой, и мной овладело чувство гадливости. Опять было утро, я словно ощутил, что меня разбудило не Солнце, а голос; я встал и подошел к окну. Под окном стояла Мария и пела. Она стирала белье. Ее лицо и обнаженные плечи светились зарей. Я вздрогнул и взглянул на постель. Я увидел синие вены на теле растерянной женщины и отвернулся. Далеко, на маленьком острове сверкнула молния и взошло Солнце. На грудь мне упал влажный шлейф неба, я тихо шепнул: «Мария». Она вздрогнула, укрыла плечи, взяла белье и что-то тихо сказала. Я не понял и с опущенной головой смотрел, как она уходит.

Да, я помню. В Приморье сейчас весна. А я лежу и читаю газету, и смотрю на резиновые пузыри, полные снега, у меня на груди. Читаю газету и вспоминаю. Я солдат, я никто и ничто, и все, что случилось, не понимаю. Петроград залит кровью. Максим Горький призывает всех несчастных домой, а в Пеште, в сенате, сидит барон Раячич, бледный, с саркастической улыбкой. А вокруг него беснуются и кричат: «Предатель, предатель». Я отложил газету и смотрю на крыши в дымке. Вижу заснеженные поляны. А на Адриатику сейчас приходит весна, по воде, от острова к острову. На заре по крышам разливается золотистая тень, теплая, мягкая, сияющая.

Жизнь, грех, порядок, законы, границы, – все это для меня такие туманные понятия. Я в этом не виноват. Я такой, какой есть, я знаю, что умру с усталой, но светлой улыбкой, хотя мне непонятно все, что я сделал и пережил.

\* \* \*

Солнце уже припекает. По воде разносятся голоса, на вершине холма добывают камень. Меня вынесли в поле. Краков лежит у моих ног. За спиной у меня с холма обрушивается камень. Вокруг расхаживают стройные кавказские князья; они тайно устраивают оргии и заливают все шампанским. Они спрашивают у меня романы Онэ<sup>1</sup>. Только один, в желтой с серым налетом шинели проходит со своей собакой точно в это время, каждый день, вниз,

1 Онэ, Жорж (1848–1918) – французский писатель, автор популярных романов.

к Висле. Он всегда насупленный, и всегда один, с собакой. Я каждый день ожидаю, что мне скажут – прыгнул в воду. Всегда один. Рано садится Солнце. Теперь у него яркий свет, от которого больно. Если бы я не стеснялся, то подошел бы к нему и спросил: «Лермонтов, как ты сюда попал?» Но он всегда насупленный. Во дворе русские катают бочки и вытряхивают брезент. Святым возносят молитвы, а днем, тайком, роются в помойках, вытаскивают объедки и грызут их, голодные. Вечером кипятят чай и улыбаются, сальные, грязные, их кожа блестит.

Есть и наши. Большинство из Подринья. Чуть что, жалуются, хватаются за нож или камень. Каждого сопровождает по пять стражников, а они поют. Я наблюдал за одним, что лежал у дверей. Он напевал, а из глаз его выглядывала смерть. Говорит, что пил уксус, помогает от чахотки, он напомнил мне, что завтра Благовещение.

Но больше жалко русских, чем тех, кого восславят в книгах для чтения в третьем классе. У наших сердце давно очерствело. Никто не умеет, как они, лечить скот, никто, как они, не умеет найти подход к женщинам. И, когда их мучают, заставляют тащить уголь, они поют<sup>1</sup>. Но русские лежат чумазые, в грязи, и сальные, и лохматые. Земля въелась им в кожу. Из помойной ямы, сторожась, выглянет всклокоченная голова, и грызет, грызет что-то. Я им даю хлеб, и спрашиваю, знают ли они господина Репина. Они печально мотают головами. Издалека разда-

1    Аллюзия на картину И.Е.Репина «Бурлаки на Волге» и песню «Дубинушка», которая стала широко известна в исполнении Ф.И.Шалапина (на гастролях и в грамзаписях).

ется звон колоколов, а их тени быстро крестятся и бьют поклоны, там, на свалках. Все это так меня утомляет.

Один приказчик из трактира ночью дежурит у моей постели. Я молчу, а он рассказывает, рассказывает. У него была любовница, жена одного офицера, погибшего под Шабцем. Говорит, сначала он ночевал у ее служанки, а потом и сама хозяйка его к себе пригласила. Говорит, сначала из-за белой муки, потом из-за масла, а позже и из-за соли. О, все это пройдет, и все это забудется.

Эти русские, лежащие в грязи перед дверью, напоминают мне обо всем. Ах, как, должно быть, сладко женское тело, что отдается за муку и соль.

Все это пройдет. Я должен гулять по мостам, я болен, а успокаиваюсь только над вешними водами. Если сойду с ума, меня на руках отнесут в сумасшедший дом.

И моя любимая опять пришла ко мне. Она весьма изысканная дама и никогда не перестанет меня любить. Она читает сонеты госпожи Браунинг<sup>1</sup>, и у нее есть один перстень, который носил король Понятовский. Ее волосы – червонный шелк. И вся она целиком из шелка.

Я вижу, что придет лучший век. Он всегда приходит.

1 Браунинг, Элизабет (1806–1861) – английская поэтесса викторианской эпохи.

\* \* \*

Ночью особенно тяжело в этих дощатых сараях. Вот сегодня ночью прибежали люди, гремя винтовками, куда-то позвали. Мы побежали. На гауптвахте замки проржавели, окна желтые от пыли, а оттуда кто-то кричит и зовет на помощь. Кто-то ударил, стекло звонко бьется. В коридорах едва светят фонари; а в тесной темной камере четверо терзали и били кого-то, в желто-черном русском мундире. Это был мой Лермонтов.

Стол был в крови, хлеб разбросан, похлебка разлита. Они волокли его по полу, он беспорядочно молотил руками и ногами и вопил. Это длится уже три недели. Он воровал, и его осудили на пять лет. Разжалованный, в ожидании отправки в город, прикидывается сумасшедшим. Но и врачи не утверждают, что он здоров, может быть, он и вправду сошел с ума. Он рванулся ко мне, но его удержали; но вместо того, чтобы меня ударить, он выкрикнул какое-то странное слово и заплакал. Его волокли по полу и заперли в пустой камере. А во все двери лупил кто-то, злобно бранясь. За решетками показались головы, небритые и бородатые. Пол залит кровью. Позвали врача.

Но я долго спрашивал себя, чего он хотел от меня. Он с Волги, или с Урала, или из далекой степи? Он петроградский безумный студент или провинциальная офицерская подстилка? О чем плачет, о потерянной чести или о какой-то напудренной женщине? О чем думает, погибает ли сейчас за матушку-Москву, а японцы – его лучшие друзья – десять лет назад были врагами? Есть ли у него сын, или он актер? Что это он выкрикнул мне в лицо?



Сегодня воскресенье, позднее утро. Завтра я уезжаю из Кракова. Сначала меня запирали на гауптвахте и били, теперь взяли письмоношей. Пойдемте в церковь, я одинок и утомлен. Лиловые, расшитые золотом мантии священников и холодные, роскошные латинские слова умиротворят мои крестьянские, но расстроенные нервы. Я посмотрю прекрасную комедию вина, что претворяется в кровь. Это рубиновое вино, которого я не вижу, но только предугадываю в золотом потире, оно рассказывает мне туманные тайны. Над моей головой вознесутся скрипки и барабаны, орган в оргии божественного опьянения. Воскресенье, позднее утро. Потом мы пойдем из этой чужестранной церкви вниз, к Висле, где меня дожидается челн, заросший зеленым мокрым мхом, и мы уплывем, меж камышей и растений, что прорастают из воды, а гибнут на Солнце.

Ласточки будут танцевать вокруг нас, а потом мы заплывем в камыши, и когда челн остановится, и мы вспомним, что завтра надо будет двигаться дальше, мы склоним головы, утомленные этим воскресеньем. Мы будем видеть во сне все эти травы вокруг нас, и церкви, и мать, юную и страстную, и над водой мы сольемся с небом весенним, и пахучим, и вечным. Нет, я совсем не хочу сына. Я пришел бы в ужас, увидев его, юного и прекрасного, зная, что его ждет. А если бы меня водрузили там, на ту церковь, высоко, как муэдзина, я бы вечерами выкрикивал все отчаяние свое и отвращение к жизни. Говорят, что когда-то я был робок. Как больно от люб-

ви, как она непреходяща. Я одинок, и у меня никого нет. Беспорядочные толпы пленных идут, идут, не зная, ни откуда, ни куда. Я сижу на вокзале и смотрю на розоватые деревья в дымке. Любовь как любовь, непреходяща. Мне кажется, существуют только она и осень, все прочее лишь обман. Мне нечего желать, и я ни о чем не жалею. Мне хорошо. Я пройду через границы, и города, и села, и леса, и воды, и на мне не останется ничего, кроме праха на ногах, в сердце молчание, а на лице слабая улыбка, бессмысленная и обжигающая. Где только ни осталось частиц моей души, растерзанной, и моей загубленной жизни.

\* \* \*

Было хорошо. Мы сидели и раскачивались в густом дыму. По-разному едут на смерть.

Одни, чистые, их пуговицы сияют, они чистые и улыбчивые, они долго целуются на вокзале. Целуют руку жене, плачут с матерью, обнимают брата и берут на руки сына. Они читают газеты и пылко рассуждают о свободе народов. У них с собой письма и медальоны своих любимых. Им все интересно, а их жены и матери говорят долго и не стесняются плакать, приказывают, заботятся, прощаются обстоятельно.

Но рядом с ними молодая женщина, которая не плачет, иронично улыбается. Она бледна; не ждет, пока поезд умчится, еще раньше простится кратким поцелуем и легкой улыбкой: «Смотри, не простудись, и чтобы зуб не разболелся, как это за тобой водится». Она бы охотно



его обняла и заплакала, но он ей не позволяет, он не хочет, чтобы его провожала мать, он не целуется. Он отправляет ее с вокзала в театр и беседует с ней о ее шляпке, которую она, бедняжка, когда придет домой, сбросит с себя с плачем. Он, не спрашивает ни о справедливости, ни о той стороне, на которой воюет, но легко садится в поезд, легко находит места, и его главная забота, чтобы было побольше сигарет. Это был молодой врач. «Курить, – говорит он и садится рядом со мной, – это турецкое слово, означает “сидеть на облаках и посмеиваться над землей”».

Потом, в дыму, я слышал два голоса. Один голос громко защищает честь своего народа, верит в армию, рассказывает о своем сыне; другой над ним насмехается и рассказывает первому про воровство в штабах, слякоть и дождь.

Тогда все вздыхают. Стоит вспомнить про дождь, все соглашаются и вздыхают горько и печально. Потом сразу заговаривают о женщинах. Тот, что сидит рядом со мной, рассказывает о каких-то бабах, напавших на него с гранатами в Шабаци, и демонстрирует какую-то статистику, которой желает доказать, что везде женщины склонны к проституции. Дым вьется, смех раздается. Святые жены, матери и сестры, по госпиталям и паркам, в его речах и смехе. Толпятся и отдаются по трактирам, на полу, на стульях, пьяные, в экстазе, а тысячи окровавленных мужчин все время попадают на его окровавленный стол и покидают его без ноги, без головы, без ушей, без глаз, покорно, как скот. Поезд летит, летит. Потрясенные отцы кричат на доктора, а он, по-прежнему смеясь, приводит цифры, статистику, цифры ужасные, страшные.

Один из всех сидит бледный и изнуренный, изможденный, и не вмешивается в разговор. Он авиатор, пахнет одеколоном, посвистывает, спокойно достает пачку писем и читает, читает; на нем шелковое белье, на руке браслет с золотой гривной, когда приходится вмешиваться в спор, он усмехается презрительно и говорит только о смерти.

«Меня не интересуют люди, я исполняю свой долг, обо мне никогда не скажут ничего, кроме как – джентльмен». Говорит, какие убогие эти летательные аппараты, как англичане издеваются и смеются над ними в воздухе. Он знает, что скоро погибнет, это все они знают, и обо всем говорит с презрением. Он рассказывает о каком-то озере, за лесом, где спрятаны их ангары, в мирные дни там ловят рыбу и играют в бридж; об одной из принцесс Меттерних, у которой там брат, и он им наносит визиты. Она не бог весть, какая красавица, но в ее теле есть тот порочный шарм, который изыскан и слаще всего на свете. Они смеются и чокаются; он пьет и угощает шампанским. Был у отца, чтобы проститься. Отец его – учитель в горах. Отвез ему тысячу дорогих сигар. «Ему будет легче пережить утрату». Глупо улыбается; а все-таки ему все завидуют, потому что он спокоен и знает, чего хочет.

Поезд несется сквозь леса и пропасти, а на заре они опять трезвеют, потягиваются, молчаливые и угрюмые, и смотрят в запотевшие окна. А там пролетают: карст, кустарник, проволока, кучи и клубки спутанной колючей проволоки, оболочки снарядов и траншеи, полные воды, в долинах, где зияют пепелища и развалины. Вдалеке,

слева, скорее даже внизу, в дымке, виднеется какая-то зеленая тряпка – это моя Адриатика.

\* \* \*

Сию на могиле. Спал хорошо. Когда проснулся, увидел, что спал на девочке. Ее звали Нева Бенусси. Да, она спокойно лежала под землей. Прожила тринадцать лет. Это была моя самая чистая брачная ночь. Вокруг нас стояли темные кипарисы, а я весело улыбался. Вдалеке белели ледяные Альпы, они казались счастьем, бескрайним счастьем земли.

Дети бегают по кладбищу, оборванные и бледные, и кричат: «Un soldo, un soldo, signor sottotenente!»<sup>1</sup>. Женщины, с ведрами и коромыслами, покачиваются на изумительных щиколотках, а я едва сдерживаю хохот, глядя на попа с черным обезьяньим лицом, который подошел и смотрит на меня изумленно, потому что я ночевал на кладбище, и зеваю, и умываюсь, кто знает, на чьей могиле.

Он опять мне жалуется, сколько мы испортили фресок в церкви, покрали алтарной утвари, побили окон, а потом угощает ризотто. Мой смех взлетает, достаю из кармана грушу, она розовая, откусываю от нее и смеюсь. Но все это ради зари. Заря всегда затуманивала мне голову. Он мне показывает своего осла, единственное, что ему оставили, и рассказывает про ревматизм, а потом мы

1 «Один сольдо, один сольдо, господин лейтенант!» (ит.).

идем в его маленькую церковку. Его лиловые, расшитые золотом одежды умиротворяют мои глаза.

Сегодня к нам приезжает командующий. Он нашей крови, но у Него еще меньше стыда, чем у нас, последних слуг прекрасной Австрии. Генерал будет стоять с непокрытой головой, барабаны будут стучать, скрипки и орган, с ароматом ладана, будут воспевать невинную мать, вдалеке будут греметь орудия. Когда мы выйдем, над нами будет светить солнце. Я буду беседовать с немцем о Наполеоне и Дебюсси, с чехом – об императрице, о которой ходят странные слухи, потом ко мне подойдет словенец. Он мне будет рассказывать истории, сначала о Грохаре<sup>1</sup> и воеводе Мишиче<sup>2</sup>, тайно и тихо. А тем временем тысячи пройдут парадом. Будем считать, что погибнет сто тысяч. И все мы будем довольны. За обедом будем вспоминать детство, орфеумы, школы. Каждый будет говорить о войне, прославлять, насколько это допустимо, по мнению генерала, свой народ. Мы будем тихонько спорить о немцах, которые все бандиты, и о французах, про которых генерал говорит, что все они педерасты. И так пройдет наш день. Завтра начнется наступление.

Сегодня мы дождемся, когда генерал позвонит в маленький колокольчик и подаст знак, что каждый может закурить свой табак. Мы будем смотреть каждый на свой дым, и так опять завершится еще один день. Но наступит лучший век, он всегда наступает.

1    Грохар, Иван (1867–1911) – словенский художник-импрессионист.

2    Мишич, Живоин (1867–1921) – сербский военачальник, воевода (генерал-фельдмаршал).



Это случилось ночью. Курьерский поезд столкнулся с нашим и переехал нас. Было много погибших. До утра мы собирали раненых, и все горело. Они сидели на земле и спокойно ели свой хлеб. Многие бродили и искали свои потерянные увольнительные. Я спросил, как они. У меня только синяки на лбу, но мне не отвечали и спокойно жевали свою краюху хлеба. Внизу виднелся Триест, весь в сиянии.

Напрасно я их спрашиваю, когда они последний раз были в отпуске, у себя дома, они молчат и едят свой хлеб. Наши на Томбе<sup>1</sup>, там быстрее погибают. В конце концов, мне никого не жаль, и меньше всего себя. Мы должны исчезнуть, мы не для жизни, мы для смерти. За нами наступит лучший век, он всегда наступает.

Мне жаль глупых, грязных отцов, этих, что не падают ниц перед Саломеей, этих, что не читают романов, этих, не знающих, кто такой Вильсон<sup>2</sup>, этих, что рассказывают о своих коровах хриплыми голосами. Жаль мне этих отцов. Я вижу их в грязных горных ущельях, в вонючих, сырых болотах, как они лежат, желтые и бесплодные, как сама земля. Если бы не стеснялся, я бы их утешал.

О, как они улыбаются, когда я говорю им о семье. Когда-то я хотел стать скульптором и говорить по-гре-

1 Десятая битва при Изонцо (14–29 мая 1917 г.). См. примеч на стр. 42.

2 Вильсон, Томас Вудро (1856–1924) – 28-й президент США. Первый президентский срок 1913–1917. Лауреат Нобелевской премии мира (1919).

чески, и я думал, что это рай. Сегодня я жажду убивать, убивать. Убийством они отвечают на все. Убийством? Где теперь богини искусства, голенькие женщины с клювом лебедя между стиснутыми бедрами, сонеты золотые и тысяча тысячи обнаженных женщин, куполов и богов, поэтов и негодяев? Везде ли так молчаливы отцы? Ни один еще не вернулся с побывки умиротворенный и смягчившийся. Все возвращаются разъяренными и говорят об убийстве. Вчера вечером мне пришлось высказаться о духе, господствующем в дивизии. Я заявил, что дело не в национальности, а в катастрофе семьи: через год будет революция. Все испугались и сказали, что я сумасшедший. А я бы радовался резне. Пусть режут.

Я никого не жалею, и меньше всего себя. Все в ломотях, лежат в грязи. Что мне им сказать, что объяснить? Они начинают меня спрашивать, знают, что я чужак, и лукаво и коварно вертятся вокруг меня, самого младшего, и спрашивают меня, спрашивают. Эти отцы городят сентиментальную чушь, а я этого не люблю. Черт возьми, я образованный человек, и знаю, с кем имею дело.

\* \* \*

Я дома. Приехал ее муж и забрал ребенка. Мне было немного неловко, она едва не помирилась с ним. Он сказал, что убьет меня. Я на это рассмеялся. О, как бы было прекрасно, если бы мы по-прежнему знали, что такое страх. Потом она выбрала меня и начала отчаянную борьбу за ребенка. Мне немного неловко. Кажется, я сбегу от нее. Я приехал ненадолго на свою смешную родину. Всё

весело. Тетки спрашивают меня, кому я столько пишу, а я им отвечаю: мертвым. Они осеняют меня крестным знамением и думают, что я «повредился умом». На крыши опускается желтая темнота. Я рано просыпаюсь. Вижу, как целуются голуби. Крест на церкви розового цвета. Это значит, что лето пришло.

\* \* \*

Жизнь не меняется. Она проходит. Я брожу по кустам и колючкам. Нахожу в ивняке свои стреляные гильзы и стыжусь своего родного края. А когда мне скучно, охочусь на серн, на которых любил охотиться мой отец. Вообще-то теперь мне очень нравится убивать. Люблю и свой родной край, а убийство лечит все, это единственная истина. Ястребы и вороны кружат у меня над головой, а издалека на меня смотрят леса. Только они меня любят, кроме женщин, с которыми я умею обращаться. На скалистом острове умирают с голоду. У нас женщины платят жандармам зерном, любовникам – маслом, а когда муж придет домой, они его зарежут. Я никогда не думал, что Агамемноны будут бродить по моему родному краю. А так всё по-старому. Учителя поют венгерские гимны, дети приносят им воду и моют школы; попы жиреют, а когда напиваются, то произносят речи о генерале Живковиче. Весна еще в земле, но уже источает аромат. Пашня пахнет. Зерно веют от мякины, а колокола звонят вдалеке. Свою жену я не видел, но она пытается помириться со мной. А в городе никто не хотел меня узнавать, ненавидят меня.

\* \* \*

Она вернулась. Оставила мужа. Он ей пообещал, что убьет меня. На руках она принесла мне своего сыночка, а глаза ее были полны слез. Сидела в углу и всхлипывала. Просила, чтобы я ее простил, чтобы я позволил ей каждый день только прикасаться ко мне пальцем.

Стояла передо мной на коленях и шептала, что не может без меня жить. Я велел ей уехать. Я предчувствую смерть и сильно кашляю, и было бы слишком сентиментально умереть у нее на руках. Она бы слишком громко плакала, а я люблю не плач, а грусть. Я больше не хочу, чтобы меня целовали или чтобы мне протягивали руку. Хватит. Если любовь, то я налюбился. Я устал.

Под окном у меня взошла пшеница, и сто раз на дню мне хочется заплакать. Мне жаль самого себя. Но жаль и пшеницу. Кто знает, может быть, она не сможет без меня жить. Разве она виновата в том, что любовь не вечна? Я все это признаю. Я ничего не хочу, только чтобы все, что придет, поскорее прошло. Когда мы встретились, то и у меня, и у нее уже было по тысяче грехов, привычек, теней, в себе. Если бы любовь начиналась в лесу, насколько бы все было легче.

Здесь я сижу всю ночь, бодрствующий, мои солдаты пересчитывают и записывают поезда, полные орудий. Она еще борется, клянется мне, что даже не виделась с мужем, он сам узнал, что она изменяла ему со мной, а мне с ним.



Она трогательна в своей лжи и борьбе. Ее мягкую, шелестящую польскую речь я все время слышу у себя за спиной, ее игривые ноги никогда не бывают в покое, и ее затуманенные глаза, которые мне себя все время предлагают, хороши в этом одиночестве. Она не красавица, не красавица, но именно потому я ее и любил. С горечью вспоминаю, как тетка меня встретила грубостью, когда я привел ее домой: «То же мне, какая-то никакая». Я собираюсь съездить в городок Святого Андрея<sup>1</sup>, где жили мои деды.

Она все еще борется. Ее улыбка бессильная, а плечи слабые, но я их все еще люблю. Она говорит, что много плакала, и что я сам виноват в том, что никогда не был счастлив. Кто знает? Она пытается очаровать меня и много говорит о славянстве, но мне это скучно. Как только проезжает последний поезд, она ко мне приходит. А я вижу поляны и зеленую пшеницу, что взошла далеко, и удивляюсь, откуда я здесь. Она мне говорит, чтобы я остался, и что мы опять будем счастливы.

Я ничего не имею против нее, я просто устал. Она стоит передо мной на коленях и целует меня. Как-то вечером она говорит мне, пусть я его убью, если не верю, что она меня любит. А почему бы мне и не верить? Я верю, просто я устал. Я улыбнулся. Если бы у меня еще оставались силы кого-нибудь убить, я бы весело расхохотался. Здесь красивое небо, нет смысла писать. Она все еще борется. Ее стройные ноги дрожат, ее глаза быстро затуманиваются. Она улыбается и напоминает мне о школьных годах, рассказывает о сожженных деревнях, о вагоне, в котором

1 Сент-Андрея (венг. Сентендре) – город в Венгрии, основанный сербами в XVII в.

лежали замерзшие дети, а вечерами играет мне русские церковные песнопения, потому что она знает, что я это люблю. Она лукава и трогательна. Я стыжусь себя, но еще большее отвращение у меня вызывают все окружающие. Мне противна наша юность, наши отцы, да и будущее наше. Каждый день она вываливает на меня сто новостей, о наших, там, за границей. Как мне жаль тех, кто воюет за нас, за нас, за кладбище, кладбище. Начать восторгаться вместе с канальями и негодьями, которые, забыв все, будут плясать на пепелищах? Она мне приносит белые розы и смеется над моей тоской. Она каждый день ждет, что меня отпустят, и хочет забрать меня к себе. Ей кажется, что мы до смерти остаемся чьими-то детьми, а однажды сказала, что позволила бы вырезать свое левое легкое, чтобы отдать его мне. Кто знает, может быть и вырезала бы. Целыми днями рассказывает мне о своем сыночке. Как на меня смотрят эти четыре глубоких темных глаза, испуганно, так испуганно. Она плачет, когда ее сынок не хочет называть меня папой, а когда ей это удастся, она берет меня под руку, и так мы идем по вечерней, темной границе. Она это произносит слаще и печальнее: «вечорна», с улыбкой бессильной и смутной, которая постепенно стала такой, как моя, над которой я столько насмехаюсь. Сегодня врач мне сказал, что я проживу еще тридцать лет, и что все мои боли воображаемые.

\* \* \*

Издалека на нас смотрят старые церкви. Она уже видит, что все напрасно, но еще надеется. Еще не уехала, но ребенка уже отослала к отцу. Каждое утро плачет.

Я иду рядом с ней без смеха, но и без печали. Целыми днями лежу в поле, в лодке, на воде. Иной раз мне кажется, что я выздоровею, ударяю весело веслом, а вода смеется, ласточки шлепают меня по голове, и кувыркаются под Солнцем.

Вокруг меня зияют окопы, заросшие травой. За кладбищем я вижу могильный холмик, он зеленеет. Под ним лежит молодая словацкая учительница, говорят, она всегда носила большие шляпы, украшенные земляникой, и любила танцевать. Ее повесили, потому что она начала подбивать солдат на бунт. Говорят, в руках у нее было письмо Керенского.

Но ее не надо было вешать, нет. В России теперь другая мода. Надо немного подождать, все меняется. Сегодня мы гибнем за черное знамя, завтра за белое, а послезавтра за пестрое. Рядом с той могилой тоска, тоска. А вокруг жнут пшеницу. Я молчу, мой голос едва слышен. Я шагаю в листву, поникшую и усталую. Колокольный звон, всегда колокольный звон, когда я в поле. Вспорхнет перепелка, и я вспоминаю свою страну, на чужбине, и прилягу утомленно, на колосья, или в просо. Желтые листья нас спасут.

Настанет ночь, лунный свет, мягкий, со светлым челом, приходит и ложится на колодцы. И стелется ночь. Сердце дрогнет, оседлает звезду, что летит мимо и, падая, кубарем скатится дальше, а сердце упадет перед нами. Мы поднимаем его и рассматриваем, а оно улыбается. Мягкая, усталая рука перебирает траву, и между пальцев проглядывает земля, душа которой пустынна и бесконечна. Мы все одинаковы. Везде мое отечество. Везде есть любовь,

потому что везде есть трава, и есть корни, и увядшие листья. Звякнет коса, и наворачиваются слезы. С тополей, шурша, опадает новая листва, а когда я проведу рукой по холодному лбу, мне горько и жаль, но не людей, а листья. Она лежит рядом со мной, в траве, и спрашивает, думаю ли я о родных местах. Я уволен из армии и поеду в родные края умирать, хотя врач говорит, что я проживу еще тридцать лет. Мы лежим в траве у Вислы.

Мы не целуемся. Где-то между деревьями упадет увядший лист. Я киваю ему головой. Я никто и ничто, еду домой. Сегодня в первый раз опустился туман. Может быть, это ангел принес мне дымчатый цветок, цветок благовещенский, с острым, медвяным запахом того единственного цветка, который не увядает, с запахом печали. Знаю, что я смешон, но, все-таки нас миллионы, не любящих ничего, кроме листьев, листьев. В моей душе больше нет той горячей надежды, которая несла меня от города к городу, от леса к лесу.

На воде небо другое, оно дрожит, такое оно чистое и голубое. Вода мне шепчет. Она мне рассказывает о своем сыночке и просит, чтобы я взял ее с собой. Я больше не хочу, чтобы меня кто-то любил. Не хочу никому быть благодарным, и сбегу от нее. Я так захотел в родной край, смотреть на него, насмехаться над ним, лежать под его листвой.

Нет, я не знаю, что хорошо, а что плохо, ничего не знаю, что со мной случилось. Один желтый лист, один взмах голубиных крыльев или ласточек на воде, и мне будет довольно, чтобы он не был ни веселым, ни печаль-

ным, и мне никогда не придет в голову верить во что-нибудь, кроме тополей. Если я вернусь, то вернусь в родной край, такой же, каким был изгнан, смешной, но чуть больше сутулясь. Мы вернулись, но мы тени.

Я люблю желтый лист, багряный перелесок и небо больше, чем людей. Поприветствуют ли меня весело «С добрым утром», я в ответ весело пожелаю доброго утра. Она лежит рядом со мной, в траве, и говорит, что все зависит от нас, даже смерть. А земля вокруг нас источает ароматы и рассказывает о корнях, что подрагивают в ней. И все, чего мы хотели, и все, чего жаждали, мне кажется, что оно там, на воде. Пунцовые и зеленые колосья прорастают сквозь наши руки и плечи. Мы должны вымереть, мы принесем добро, много добра смертью своей. Сегодня мы оба очень печальны. Ее сынок пишет ей каждый день и зовет ее домой. Я знаю, что она уедет. У меня перехватило дыхание, я болен, я утратил любовь, я утратил душу, я все утратил где-то в листе, в листе. Она будет плакать, и искать меня, но потом?..

\* \* \*

Я вернулся таким же смешным, каким и уезжал. Я оставил ее и вернулся домой. И что теперь? Ничего. Я спокоен и доволен. Где-то упадет увядший желтый лист. Я ему кивну головой, я никто и ничто. Довольный и спокойный.

Тетки мои плачут по дому, говорят, что я желтый, как та травка, «кошачьи лапки». Угощают меня молоком. Если

материнское молоко меня не наполнило силой, может быть, спасет молоко белых упитанных коров, пахнущее травами. Я ни весел, ни печален. Пойдет ли дождь, или будет сиять Солнце, мне все равно. Я буду молчать, потому что никого не люблю. Тетки говорят, что все пройдет. У нас полные дома маленьких боснийцев, сирот. Югославянство сейчас очень в моде.

Опять достают портреты царя Душана и стирают с них пыль. Потом еще будут говорить, что все это был дурной сон. Все по-старому. Завтра белое станет черным, а послезавтра желтым.

Она плакала, но она не умрет от боли, от боли не умирают, умирают от чести. Я вернулся. Меня хотят избрать председателем общества, не знаю, какого общества. Я сбежал от нее на заре. Она вскрикнет, когда увидит, что меня больше нет рядом с ней, и заплачет. Но потом? Мне жаль ее сыночка. Мужчина, не мой сын, но он так похож на меня. Она говорит, что всегда думала обо мне.

Я сбежал от нее на заре. Мои солдаты изумленно на меня смотрели, а я ушел на корабль. Изможденные и нечесанные женщины убирали детей с моей дороги, как будто я был сам Люцифер. Потом мимо нас проплывали холмы, леса и виноградники. Я люблю переселяться.

Когда мы прибыли, я увидел городок, где родилась моя мать. В нем было много церквей, в которых молчат колокола. Этот городок – усыпальница моих предков. Я был сентиментален. Мы остановились у каких-то садов. Я прошел мимо маленьких домиков, окруженных палисадниками, по крутым улицам, и подглядывал. Где-то

я видел раскрашенную «Княжескую вечерю»<sup>1</sup>, а где-то килимы, которые так люблю. Я спросил кого-то, знает ли он господина Яшу Игнятовича, но старик посмотрел на меня и ответил тихо, на венгерском, что не знает. Смерть прячется в садах. Везде меня встречали сады. Церкви были пустые и холодные. Я в них кашлял. Церкви были пустые и холодные, а окна пыльные и мутные, как мои глаза. Я люблю мои глаза, во всем виноваты мои глаза. Никому я так не благодарен, как своим глазам. Они мне были больше, чем мать. И я посетил усыпальницу своих предков. Было скучно. Говорю же, честные гибнут. Владыка редактировал там венгерский катехизис, а огороды заросли сорняками. У нас патриотизм в моде, как же мне его не вспомнить. Я люблю своих предков, они умели убивать. И вообще, теперь мне убийство очень нравится. Колокола звонили, потому что я устроил так, чтобы приехать, когда звонят колокола. А я человек образованный, я знаю, что все надо хорошо устроить.

Я нанес визит женщине, которую мой отец любил раньше, до моей матери. У него были толпы любовниц, как и у меня. Я прошел по крутым, маленьким, узким переулкам, там было полно детей. А везде над переулками на меня смотрели церкви, пустые, покинутые, пыльные церкви. В одной я увидел, слева, символ, как в чужестранных церквях, в которых я люблю прятаться. Я старался, чтобы мое сердце заплакало или засмеялось. Помню, небо было дымчатым, полным дрожащих голубых вен. Они проникли в мою душу, и я знал, что вернусь домой. Меня встретила старушка, в желтом шелке, под уродливой иконой Святого

1 Популярная литография сербского графика А. Стефановича (1832–1877) из «Косовского цикла» (1870–1873).

Иоанна. Она разругалась и рассказывала мне об отце. В ней было больше любви, чем во мне, а я-то думал, что никто на свете не может любить, как я. Она мне долго рассказывала об отце. Говорит, что я очень похож на него. Рассказывала и спрашивала меня о мире. А потом мне сказала, что ничего не изменилось. Ей было за семьдесят, и она покраснела, когда я упомянул ее портрет, найденный у моего отца. Она была старая и добрая, да и кто не добрый, все добрые. Она хотела отвести меня на кладбище, хотела показать мне еще и кладбище старых романов, которые моя мать любила читать, и дом моего деда. Но я был бледный и хотел уехать.

После на уродливом закопченном вокзале, я опять, в сотый раз, услышал, что в Москве льется кровь, что боснийцы штыками прорвались в итальянские окопы, что в Сербии умерло миллион человек, и что может наступить лучший век. Женщины лежали на земле, сестры, не нашедшие братьев, и жены, не нашедшие мужей, и теперь целовались и обжимались с какими-то мужчинами, под сенью мрачных коридоров. Заплаканные матери, искавшие свое дитя и не нашедшие, раздали белый хлеб каким-то оборванным солдатам, слонявшимся в темноте и в дыму. Я прошел вдоль поездов и спрашивал про скорый на юг. Я уже хотел подняться в вагон, когда ко мне подошел человек в галунах и спросил, куда мне. «На юг». Он сказал, что этот на север. Я взглянул на него и спросил: «Разве не все равно?» Он смотрел на меня изумленно; не знал, что я уже давно насмехаюсь над собой. Я добрался до дома.

Попадья меня навещают, они не изменились. Никто не изменился. Но все меня ненавидят. Только моя жена



меня защищает. Она председатель какого-то женского общества. Говорит, что я дурно воспитан, и что я вообразил какую-то Weltschmerz<sup>1</sup>, а откуда бы ей взяться, к черту, этой Weltschmerz в Банате. Лежу целыми днями за нашими дровяными сараями и смотрю в небо. Голуби падают с крыш, в сумерках звонят колокола, а дамы опять хотят меня избрать председателем какого-то общества. Они очень любят немецких артиллеристов, которые приезжают с Салоникского фронта в белых перчатках. И я люблю белые перчатки. Буду лежать целыми днями в траве и смотреть в небо. Каждый день оно будет нового цвета. И эти краски умиротворят мои глаза, а я умиротворен, когда спокойны мои глаза. Пожелает ли мне кто-нибудь печально доброго вечера, я печально ему отвечу. Пожелает ли мне кто-нибудь, весело, доброго утра, я весело ему отвечу. Мы вырем, и наступит лучший век, он всегда наступает. Мы будем брести в потрепанных зеленых шинелях, бледные и улыбающиеся, везде, по улицам. Мы не требуем ничего, мы ни о чем не жалеем, не так ли, мы ни о чем не жалеем. Тетки перестанут плакать. Они все время украшают портрет царя Душана и надеются, что и я им жизнерадостно улыбнусь. Целыми днями они меня мирят с женой, приносят мне молоко, как ребенку, водят меня в созревающую кукурузу, а люди меня все время выбирают председателем. Говорят, года два-три, и мы все забудем.

Тетки плачут обо мне и навещают меня, как будто я могила. Надо мной небо, на нем розовые нежные полосы, эти полосы каждый раз возвращаются на заре.

1    Мировая скорбь (нем.).

Они ко мне возвращаются, на облаках, тающие и нежные. Я смотрю на них каждое утро и живу только ради них. Где-то упадет желтый лист. А в сумерках звон. Я кашляю, хотя врачи говорят, что я проживу еще тридцать лет. Где-то треснет черепица, где-то упадет забор. В сумерках холодно, тетки укутывают меня, как ребенка, они читают мне о петроградских залитых кровью улицах, я это люблю. Недалеко живет моя жена. Живет через дорогу, но еще надеется. Но, если я умру, то взгляну в последний раз на небо, утешение мое, и улыбнусь.

## **СЕРИЯ «СЕРБСКОЕ СЛОВО» В ЦЕНТРЕ КНИГИ РУДОМИНО**

### **Поймай падающую звезду Антология современного сербского рассказа**

Составитель: Любинка Милинчич,

предисловие: Михайло Пантич,

перевод: Л.Савельева и В.Соколов

*«Опираясь на богатую и ко многому обязывающую традицию, формировавшуюся в течение нескольких столетий, современные сербские авторы силой художественного воображения создают огромный параллельный мир, своеобразный прозаический универсум – несравнимо более уравновешенный и гармоничный, чем мир исторической и политической повседневности». Михайло Пантич*

### **Михайло Пантич**

Старомодная манера ухаживать: Рассказы

Перевод: Ж.Перковская, А.Плотникова, Л.Савельева,  
Е.Сагалович, О.Сарайкина, Ю.Созина, Е.Шатько

*Рассказы о парах Михайло Пантича, хотя и насыщены литературными аллюзиями, – это всегда непосредственный опыт городской жизни, где сквозь обезличенную повседневность проступает стремление героев разобраться в собственно любви и боли...»*

## Данило Киш

Гробница для Бориса Давидовича

Перевод: Е.Сагалович

*Данило Киш (1935–1989) своей повестью*

*«Гробница для Бориса Давидовича» (1976) воздвиг  
памятник всем жертвам политических репрессий.*

*Книга переведена на 28 языков.*

*На русском языке опубликована впервые.*

## Ивана Димич

Арзамас

Перевод: Е.Сагалович.

*Роман «Арзамас» Ивана Димич – это причудливый сплав  
драмы и прозы, трагедии и комедии, вымысла  
и реальности. Тема романа – взаимоотношения матери  
и дочери, старой матери и стареющей дочери,  
одна из важнейших экзистенциальных тем.*

*Ивана Димич – лауреат премии еженедельника НИН  
(Белград) 2016 г. за лучший роман года,  
написанный на сербском языке.*

<https://ru-ru.facebook.com/CentreBook/>

Литературно-художественное издание 16+

Милош

Црнянский

# Дневник о Чарноевиче

Художественный редактор

Т.Н.Костерина

Оператор компьютерной верстки

Л.Г.Иванова

Оператор компьютерной верстки переплета

В.М.Драновский

Технолог

М.С.Кырбаш

ООО «Центр книги Рудомино»

109189, Москва, ул. Никольямская, д. 1

Отдел реализации издательства: (495) 915-35-18

e-mail: [synkova@libfl.ru](mailto:synkova@libfl.ru), [amin@libfl.ru](mailto:amin@libfl.ru)

<http://www.facebook.com/CentreBook>

Технологическое сопровождение

и допечатная подготовка ООО «Бослен»

(499) 270-09-59, (495) 971-89-09

<http://www.boslen.ru>

Подписано в печать 21.12.2018

Формат 84×108/32

Тираж 1000 экз.

Заказ № 12476

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в АО «Первая Образцовая типография»,

филиал «Ульяновский Дом печати»

432980 г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14





